Эстер Гессен

Белосток — Москва

[memoria]

CORPUS

“Тогда, в октябре 1939 года, всем нам было интересно, каков на самом деле этот загадочный Советский Союз и как сложится дальше наша жизнь...”

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«За семнадцать лет жизни в Польше и потом более полувека в России немало довелось увидеть и испытать в нашем бурном столетии. К тому же с каждым годом все меньше остается людей, помнящих те времена» — так начинает свою книгу Эстер Гессен. Родившись в польском Белостоке в 1923 году и накануне войны оказавшись в советской Москве, Эстер испытала все — репрессии и ссылки родных, государственный и бытовой антисемитизм, голод, войну. Она помнит оттепель и застой, обещания и разочарования перестройки, помнит жизнь страны. Но на первом месте для нее стоит жизнь человека с ее горем и радостью, всегда идущими рядом. Книга Эстер Гессен — важный и ценный документ эпохи, которая еще не закончилась.

- Эстер Гессен
  - ○
  - ○ Фото с вкладки
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5

Эстер Гессен
Белосток — Москва

Моему отцу Якубу Гольдбергу посвящаю

Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит.
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег
Летит и пасть не может…

Давид Самойлов

Мне уже за семьдесят, сижу без работы. Редакция, где я трудилась сорок с лишним лет, умерла естественной смертью, а поскольку я привыкла за все эти годы проводить достаточно много времени за пишущей машинкой (мои дети смеются надо мной и говорят, что давно пора заменить этот реликтовый агрегат компьютером), то мне подумалось, что, может быть, стоит записать, хотя бы для детей и внуков, кое-что из моих воспоминаний. Что ни говори, а за семнадцать лет жизни в Польше и потом более полувека в России немало довелось увидеть и испытать в нашем бурном столетии. К тому же с каждым годом все меньше остается людей, помнящих те времена.

Итак, родилась я в 1923 году в польском городе Белостоке в интеллигентной еврейской семье. Мама окончила филологический факультет Варшавского университета, что было для девушки ее круга (отец ее был хасидом) не просто редкостью, а настоящим подвигом. Она годами добивалась согласия отца на получение образования — мой дедушка считал, что для женщины умения читать и писать более чем достаточно. Но в конце концов ей удалось настоять на своем и не только самой окончить гимназию и поступить в университет, но и проложить путь туда трем своим младшим сестрам. Потом, после замужества, мама переехала в Белосток и вплоть до самой войны преподавала польский язык и литературу в частной еврейской гимназии, где обучение велось на идише. Тут я хочу отметить, что в

стотысячном городе, каким был Белосток, евреи составляли около половины населения — здесь были еврейская больница, еврейский детский приют и дом престарелых, целая сеть частных школ-семилеток с преподаванием на идише или на иврите, частные гимназии, в нескольких из которых преподавание велось на польском языке, в одной на идише и в одной на иврите; именно в последней училась я, но об этом ниже.

В Польше с каждым годом ширился и усиливался антисемитизм, но мы в Белостоке знали об этом только из газет и по рассказам приезжих. У нас евреи составляли как бы государство в государстве — у еврейской общины был свой выборный совет, свой бюджет. Когда в городском парке антисемитские хулиганы попробовали нападать на евреев, еврейские молодые люди организовали отряды самообороны, подкарауливали в кустах и несколько раз так избили нападающих, что у тех пропала охота к подобным подвигам.

Евреи вообще составляли совершенно обособленную группу населения, во всяком случае в нашем городе. Скорее всего, так было и в маленьких местечках. У меня, например, первые знакомые и друзья — неевреи появились только в России, когда, после так называемого освобождения в 1939 году Западной Белоруссии и Украины, я, окончив школу, приехала в Москву учиться. И должна сказать, что позднее, во время оголтелой антисемитской кампании, разгоревшейся в СССР в последние годы жизни Сталина (и длившейся, хотя и с меньшей интенсивностью, десятилетиями после его смерти) я почти с умилением вспоминала антисемитизм в Польше. Там можно было об этом позорном явлении говорить, писать, протестовать. Здесь за такие разговоры попадали в лагерь, потому что ксенофобия была характерна будто бы только для мира капитализма, а в СССР все народы (ха-ха!) равны.

Я вспоминала, как в 1937 году, после еврейского погрома в городке Пшитык, по всей Польше прокатилась волна устроенных евреями забастовок протеста; наша гимназия, в частности, тоже бастовала, за что ее лишили государственной лицензии и мой класс в 1938 году сдавал на так называемый малый аттестат зрелости (после десяти лет обучения, потом было еще два года лицея) не своим преподавателям, а комиссии из Брестского учебного округа, в ведении которого находились все школы и гимназии Белостока. А поскольку мы все предметы, в том числе физику, химию, математику и т. д., изучали на иврите, то в состав комиссии в качестве переводчика входил ксендз. Мы были, разумеется, ужасно напуганы и взволнованы. Шутка сказать: сдавать экзамены на аттестат зрелости не своим, хорошо

знакомым преподавателям, а каким-то чужакам, скорее всего антисемитам. Но наши учителя успокаивали нас, говоря: «Не бойтесь, этот ксендз наверняка знает иврит несравненно хуже вас, поэтому старайтесь, отвечая, говорить как можно быстрее. Он половины не поймет, а поскольку не захочет в этом признаться, то или будет сам, переводя, исправлять ваши ошибки, или, скорее всего, не утруждая себя переводом, скажет, что ваши ответы правильны». Действительно, тем из нас, кто сумел взять себя в руки, этот совет очень пригодился. Я, например, тараторила на экзаменах не переводя дыхания и получила неплохие оценки.

А вообще экзамены на аттестат зрелости в нашей гимназии были трудны чрезвычайно. У многих не выдерживали нервы, бывали случаи, когда гимназисты попадали даже в психиатрические лечебницы. Дело в том, что выпускные экзамены сдавали тогда не так, как сегодня, — в один день, скажем, математику, через несколько дней литературу, потом историю и т. д. В ту пору группа из четырех или пяти учеников сдавала все предметы в один день. Назавтра к экзаменам приступала следующая группа. В гимназиях с государственной лицензией выпускники таким образом сдавали всего несколько основных предметов, что, впрочем, тоже было нелегко, по остальным же предметам преподаватели выставляли отметки на основании показателей за весь учебный год. Мы же в своей лишенной лицензии гимназии сдавали в один день все предметы программы. Не помню точно, сколько их было, но, во всяком случае, не меньше десяти. Это была настоящая пытка, меня до сих пор бросает в дрожь при воспоминании о тех проклятых экзаменах.

Что касается забастовок протеста, то, когда я позднее рассказывала о них своим советским друзьям, те отказывались верить. Они и представить себе не могли, что такое было возможно. Ну а когда я окончила университет и больше года из-за своего «пятого пункта» не могла никуда устроиться на работу, опять напрашивались параллели. Я вспоминала, что в довоенной Польше, где евреев не брали на работу в государственные учреждения, существовало множество частных предприятий, магазинов, учебных заведений, владельцами которых были евреи, предоставлявшие работу главным образом своим соплеменникам. И опять напрашивался вывод, что в той антисемитской Польше евреям жилось легче. Не говоря уже о том, что каждый, кому не нравилась жизнь там, мог в любой момент уехать. В отличие от «первой страны победившего социализма», где у евреев не было возможности ни работать, ни бороться против дискриминации, ни уезжать.

После этого отступления я возвращаюсь к своему белостокскому детству. Мои родители вначале были очень зажиточными людьми. Отец руководил довольно крупным банком, унаследованным от богатой бабушки. Сама я, увы, того легендарного времени, с кухаркой, горничной и няней, почти не помню. Запомнилось только, что в один прекрасный день они все исчезли, вместо них появилась скромная деревенская девушка «для всего», а родители ужасно нервничали. Только спустя годы я узнала, что к отцу тогда обратился его близкий знакомый, предприниматель по фамилии Нейман (кстати сказать, отец известной до войны польской киноактрисы Норы Ней; я помню даже фильм «Зов моря», в котором она играла главную роль), умоляя одолжить ему на три дня крупную сумму. Эти деньги должны были спасти его от банкротства (на дворе стоял 1929 год, начало Великой депрессии). Отец отдал ему всю наличность, имевшуюся в банке, а ровно через три дня Нейман, которого, судя по всему, этот заем не спас, покончил с собой. Отцу хватило денег только на то, чтобы, закрыв банк, избежать долговой тюрьмы. Потом он несколько лет оставался без работы, и наша семья жила главным образом в долг, потому что мамина зарплата была более чем скромной. Мы по-прежнему снимали большую квартиру в дорогом районе, так как, по утверждениям отца, если бы мы ее сменили на жилье подешевле, владельцы магазинов тут же перестали бы нам отпускать товары иначе, чем за наличные. Поэтому, чтобы не потерять их доверие, приходилось жить не по средствам.

Потом отец нашел работу — стал уполномоченным итальянской страховой компании по Белостокскому воеводству. Компания называлась, если мне память не изменяет, *Assicurazione Generali di Triesti*. А что я уже помню отлично, так это факт, что отцу приходило жалованье раз в месяц на Главный почтамт и, когда он шел за деньгами, его неизменно сопровождали многочисленные кредиторы, которым он прямо у кассы возвращал часть старых долгов. Помню также, как мама беспрестанно пыталась его убедить, что мы должны начать жить поскромнее, сменить квартиру, уволить домработницу и наконец полностью расплатиться с кредиторами. На это отец отвечал, что не намерен во всем себе отказывать ради того, чтобы когда-нибудь на его похоронах люди вспоминали: «Ах, как самоотверженно покойник возвращал долги!» Ну и оказалось, что он был прав: прежде чем ему удалось со всеми расплатиться, началась война, он попал в гетто и погиб в гитлеровском лагере смерти Майданек. Но об этом я расскажу позднее. А Нора Ней, дочь Неймана, разорившего моего отца, долгие годы испытывала,

должно быть, чувство вины. Мы с ней не были знакомы, но в 1940 году, когда я училась в Москве, жила в общежитии на одну стипендию и была перманентно голодна, она меня разыскала, сказала, что приехала на гастроли, знает моих родителей и приглашает меня в ресторан. Я охотно пошла и провела с ней приятный вечер. Больше мы не виделись, а поскольку после войны о ней ничего не было слышно, то я думаю, что она погибла в гетто или в лагере[1].

Итак, я училась в еврейской гимназии, где все преподавание шло на иврите. Туда записал меня отец, несмотря на возражения мамы, предпочитавшей для меня ее гимназию с преподаванием на идише. После долгих споров папа все же настоял на своем — он был пламенным сионистом, активным деятелем сионистской партии, собирался непременно эмигрировать в Палестину и хотел, чтобы я была готова к учебе в Иерусалимском университете. Впрочем, когда я была в первом классе, произошел случай, в результате которого победу чуть не одержала мама. Дело в том, что евреи в Польше, особенно в провинциальных городах, были в подавляющем большинстве набожны, соблюдали все религиозные правила и запреты. Настолько, что с этим считались даже польские власти. Например, в государственных школах и гимназиях, где учеба в отличие от частных школ была бесплатной и где учились в том числе дети из бедных еврейских семей, учителя в субботу никогда не устраивали контрольных и не вызывали учеников-евреев к доске, потому что по субботам нельзя писать. (Кстати, когда в 1941 году мама оказалась в одной тюремной камере с учительницей математики из польской гимназии, та жаловалась, что, поскольку по субботам евреев нельзя было вызывать к доске, это был всегда самый скучный день в школе.) А на уроках Закона Божьего евреи занимались отдельно от поляков, с раввином. Мои же родители, хотя оба происходили из хасидских семей (а может быть, именно поэтому), были убежденными атеистами и не соблюдали никаких религиозных правил, в частности, у нас дома не было кошерной пищи. Ну и я, разумеется, понятия не имела, что евреям можно есть, а чего нельзя. И вот однажды в гимназии, позавтракав в буфете во время большой перемены и вернувшись в класс, я обнаружила, что мальчик, с которым я сидела за одной партой, подсел третьим за другую парту. Прежде чем я успела спросить, в чем дело, вошла учительница и велела ему вернуться на свое место. Но он сказал, что сидеть со мной не будет. Удивленная учительница, решив, что мы, возможно, поссорились, попыталась посадить со мной за парту кого-нибудь другого. Но желающих не нашлось, все отказывались. Выяснилось, что я тяжко согрешила —

съела на завтрак в буфете пару бутербродов с колбасой и запила стаканом какао, в то время как, по кошерным правилам, ни в коем случае нельзя сочетать мясную пищу с молочной. Уговоры учительницы ни к чему не привели, мне был объявлен бойкот. Тут я схватила портфель, выскочила из класса и побежала домой, где, рыдая и кляня родителей за их доставившее мне столько неприятностей вольнодумство, заявила, что ноги моей больше в этой гимназии не будет. С неделю я не посещала уроки, потом к нам домой пришла учительница, она же классная руководительница (догадываюсь, что кто-то из моих родителей связался с ней по этому вопросу) и сказала, что одноклассники меня простили, поняли, что я согрешила не нарочно, и верят, что это больше не повторится. Я сдалась не сразу, но в конце концов дала себя уговорить и вернулась в гимназию, а папа с мамой с тех пор старались предупреждать подобные оплошности с моей стороны.

Как и предполагал мой отец, я стала, подобно большинству моих товарищей по гимназии, сионисткой, вступила в левую молодежную сионистскую организацию «Ха-шомер ха-цаир» и мечтала о переселении на Землю обетованную и создании там еврейского государства. О войне, которая разрушит все эти планы, никто из нас не думал. Я хорошо училась, а иногда даже одерживала небольшие победы. Например, когда мне шел девятый год, то есть в 1932 году, я прочитала в газете «Малый пшеглонд» («Малое обозрение» — издаваемое известным писателем Янушем Корчаком еженедельное приложение для детей и юношества к ежедневной еврейской газете на польском языке «Наш пшеглонд») объявление о конкурсе на описание интересной игры и написала туда не то статью, не то очерк «Игра в корабль» (о чем там шла речь, не помню). И вдруг несколько недель спустя в «Малом пшеглонде» появилось сообщение, что первое место в конкурсе заняла девятилетняя Эстуся из Белостока (так я подписалась). А домой, к изумлению моих родителей, которые ни о чем не знали, пришло письмо с поздравлением и просьбой в ближайший мой приезд в Варшаву, независимо от срока, явиться в редакцию за дипломом и премией. В Белостоке это событие стало настоящей сенсацией, пространную заметку о моем успехе напечатала популярная местная газета на идише «Унзер лебн» («Наша жизнь»). Моей гордости, разумеется, не было предела, а поскольку зимние каникулы и Пасху я традиционно проводила у бабушки с дедушкой в Варшаве (почти все родственники мамы и папы жили там), то, едва приехав к ним в очередной раз, я отправилась с тетей, маминой сестрой, в редакцию. Я очень надеялась, что познакомлюсь там с Янушем

Корчаком, чей «Король Матиуш Первый» был тогда моей любимой книгой. Каково же было наше с тетей разочарование, когда вместо Корчака нас встретил никому в ту пору не известный Игорь Неверли, его секретарь и фактический редактор еженедельника. Кто мог предвидеть, что спустя годы Неверли станет известным писателем, а я — переводчицей польской литературы, которая переведет на русский язык ряд его талантливых повестей: «Под фригийской звездой», «Сопка голубого сна», «В минуты роковые» и др. В ходе работы над переводами мы с Неверли часто переписывались, приезжая в Варшаву, я всегда его навещала и как-то рассказала ему, что я — та самая довоенная Эстуся из Белостока, которой он вручил диплом, какие-то книги и билеты в детский театр. Неверли не раз заверял меня потом (подозреваю, что исключительно из вежливости), что хорошо помнит тот конкурс и застенчивую девочку, пришедшую с тетей в редакцию.

В 1978 году Международный комитет по празднованию столетия со дня рождения Януша Корчака пригласил меня на научную сессию, посвященную этой дате и состоявшуюся в Варшаве в октябре того года. Я очень хотела воспользоваться приглашением, готовилась к поездке, но буквально в последний момент она сорвалась по ряду моих домашних и служебных обстоятельств. Ужасно расстроенная, я поделилась в письме к Неверли своим огорчением, а он в утешение прислал мне старый, довоенный снимок группы сотрудников «Малого пшеглонда» с трогательной дарственной надписью. Смерть Игоря Неверли несколькими годами позже была для меня тяжелым ударом и настоящим горем.

Между тем время шло, и вот наступил роковой 1939 год. Я перешла тогда во второй класс лицея и, начнись война годом позже, успела бы, как было задумано, уехать учиться в Иерусалимский университет, и тогда вся жизнь моя и моих родителей сложилась бы совершенно иначе. Впрочем, не только моя. Большинство моих одноклассников собирались продолжить учебу в Палестине. И тогда они остались бы в живых. Увы, из восьмидесяти с лишним учеников наших двух параллельных классов пережила войну только я, мой приятель Гершон Кон, которому удалось уже во время войны добраться до Палестины (как это происходило, я расскажу потом) и моя подружка Соня Гродзенская — ей удалось бежать из города во время ликвидации белостокского гетто, и она вместе с еще несколькими людьми пряталась в лесном бункере до прихода Красной армии. Теперь она живет в Израиле.

Август 1939 года, то есть последний мирный месяц, я провела

в Карпатах, в молодежном туристическом лагере. Срок моей путевки истек за неделю до начала войны, как раз в тот день, когда в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Из Белостока нас была в лагере целая группа — из нашей организации «Ха-шомер ха-цаир». Мы все вместе сели в поезд, следовавший в Варшаву, где нам предстояла пересадка. И тут мы сразу ощутили, что былое время кончилось. Согласно распоряжению военных властей, каждый мужчина, подлежавший призыву и направлявшийся на сборный пункт, имел право остановить любое средство транспорта и воспользоваться им. В этой связи наш поезд начал останавливаться буквально через каждые сто метров. О расписании никто не думал, а ведь в довоенной Польше (не знаю, как сейчас) поезда ходили так точно, что по ним можно было сверять часы. Я это отлично помню, потому что не раз думала об этом, пользуясь поездами в СССР, где опоздания на несколько часов были в порядке вещей, ни у кого не вызывая возражений.

Итак, в наш вагон все время подсаживались люди, становилось все теснее и в конце концов негде было даже стоять. Тогда, освобождая место призывникам, стали высаживать других пассажиров. Правда, это касалось только лиц мужского пола, так что я доехала до Варшавы на том же поезде, в то время как наших ребят высадили всех. Они добрались до Белостока разными путями чуть ли не в самый канун войны. На Варшавском вокзале меня встретили ожидавшие там уже много часов два моих дяди, напуганные телефонными звонками моих родителей. Они повезли меня ненадолго к дедушке с бабушкой — всех их я видела тогда в последний раз — и в тот же день отправили поездом в Белосток. Я была счастлива, очутившись наконец дома, мама рыдала и клялась, что никогда в жизни не позволит мне больше уезжать. Атмосфера в городе была до крайности накалена, хотя люди все еще надеялись, что, может быть, все обойдется и войны не будет. В нашей квартире все время толклись знакомые и просто соседи — приходили послушать новости по радио, которое было тогда далеко не у всех.

Ну а потом наступило первое сентября, когда рухнули последние надежды. Мы теперь не отходили от приемника, слушая сначала сводки о героической обороне полуострова Вестерплатте в Гданьской бухте, потом об обороне Варшавы, ну и разумеется, о том, что немецкие войска продвигаются все дальше на восток. Где-то в первой половине сентября они дошли до Белостока и без боя заняли город, а почти одновременно, 17 сентября, радио сообщило, что с востока к нам движется Красная армия, «освобождающая» Западную Белоруссию и Украину. Никто

тогда не знал о пакте, заключенном между Молотовым и Риббентропом, но было ясно, что обе армии — немецкая и советская — действуют вполне согласованно. Разногласия, как оказалось, возникли только в вопросе о Белостоке. Германия хотела оставить его себе, ссылаясь на так называемую линию Керзона, то есть проект восточной границы Польши, выдвинутый в 1920 году[2] тогдашним министром иностранных дел Великобритании Г. Н. Керзоном. Но на город и прилегающие к нему районы претендовал также СССР. Переговоры продолжались несколько недель, и все это время мы жили в немецкой оккупации, как на вулкане. Евреи, разумеется, мечтали, чтобы в конфликте победил Советский Союз — тогда еще, правда, не было лагерей смерти и газовых камер, но мы уже до войны достаточно наслушались по радио истерических речей Гитлера с угрозами в наш адрес. Да и о Хрустальной ночи мы в подробностях знали из газет и от еврейских беженцев из Германии, которые прибыли еще в мирное время в Польшу, в том числе и в Белосток. Немцы, не зная, останутся ли они в городе, вели себя относительно спокойно. Это потом, напав в 1941 году на СССР, они начали свою деятельность в Белостоке с того, что согнали в главную городскую синагогу сотни евреев и сожгли их там живьем. Впрочем, и в тот первый раз они успели устроить горожанам несколько подлых сюрпризов. Например, в первый же день оккупации был введен комендантский час: объявили, что с восьми вечера до шести утра нельзя выходить из дома и в каждого, кто появится на улице в запретное время, постовые будут стрелять без предупреждения. А через пару дней новость: комендантский час начинается не в восемь, а в шесть вечера. Причем объявления об этом расклеили на стенах в пять часов. Те, кто успел их прочитать, все равно могли предупредить только ближайших соседей — телефоны в городе не работали, к тому же они мало у кого были. Многие в тот день вышли на улицу после шести, полагая, что в их распоряжении еще два часа. И пятьдесят с лишним человек были убиты…

Лично у меня тоже было в те дни приключение, стоившее мне много нервов. В первые несколько дней при немцах я не выходила из дома, но потом это мне ужасно надоело, и я упросила родителей отпустить меня ненадолго к жившей поблизости подруге. И вот я иду по улице Сенкевича, одной из самых больших и красивых в городе, собираюсь свернуть в ближайший переулок, как вдруг рядом со мной останавливается машина, дверца открывается, и два немецких офицера затаскивают меня внутрь. Я чуть не умерла от ужаса, уверенная, что пробил мой смертный час. Но офицеры и не думали меня убивать, наоборот,

спросили, понимаю ли я по-немецки. Ну а поскольку идиш в сущности жаргон немецкого языка, то любой владеющий им может объясниться и на немецком. Эти офицеры, как оказалось, тоже об этом знали. Все еврейские магазины в городе были закрыты, а владельцы польских магазинов не понимали, что нужно немецким покупателям. Поэтому немцы стали ловить на улицах прохожих евреев и брали их с собой в магазины в качестве переводчиков. Позже я узнала, что то же самое довелось пережить еще нескольким моим знакомым сверстникам. Словом, мы побывали в нескольких магазинах, и я, придя в себя, довольно сносно справилась с переводом, а немцы, сделав свои покупки, оставили меня просто на улице и уехали. Домой я, разумеется, вернулась полуживая и до прихода Красной армии уже носа за порог не высовывала.

В конце концов, обе стороны, немецкая и советская, договорились относительно Белостока, немцы ушли, уступив место Красной армии. Советские солдаты появились в городе еще до ухода оттуда частей вермахта, и толпы горожан, вышедших на улицы, с изумлением наблюдали, как приветливо те относятся друг к другу, как спокойно и беспрепятственно, на глазах у бойцов и командиров Красной армии, немцы вывозят из города все, что их душе угодно. Их наполненные неизвестно чем, но уж точно не оружием и боеприпасами грузовики один за другим не спеша двигались по мостовым, и это продолжалось до позднего вечера. Зато назавтра, когда мы проснулись, оказалось, что немцы уже убрались. Начиналась новая жизнь, о которой никто из нас не имел точного представления, поскольку, с тех пор как мы себя помнили, действительность за восточными рубежами была покрыта мраком неизвестности. Никто там не бывал, никто ничего не рассказывал. Газеты, если не ошибаюсь (по молодости лет я не очень внимательно читала прессу), стали более или менее подробно писать о Советском Союзе только в 1937 году, когда началось то, что мы теперь называем сталинским террором, а тогда именовалось московскими процессами. Помню, как мои родители с изумлением рассуждали о том, что многие советские руководители партии и правительства попали в тюрьмы по обвинению в шпионаже, ну а когда на процессах они начали один за другим признавать свою вину и рассказывать подробности собственной шпионской деятельности, никто у нас уже этому не верил и люди только гадали, как удалось заставить подсудимых так себя оговаривать. Я была просто потрясена, когда, приехав в 1940 году в Москву, где продолжались аресты, суды и казни, обнаружила, что никто не сомневается в вине осужденных. Уже потом, спустя годы, я поняла, что правительственным

сообщениям верили далеко не все, просто никто не осмеливался высказывать вслух свои соображения. Но я до сих пор убеждена, что сомнения испытывало только старшее поколение. Мои же сверстники — а я не знала среди них буквально ни одного, у кого в семье не было бы арестованных близких или дальних родственников, — дружно заверяли, что партия и следственные органы не могут ошибаться. Раз человека арестовали, значит было за что.

Но тогда, в октябре 1939 года, никто еще об этом не думал, всем нам было интересно, каков на самом деле этот загадочный Советский Союз и как сложится дальше наша жизнь. Первые дни были веселыми и праздничными. На городских площадях и в парке установили киноэкраны и бесплатно крутили фильмы. По улицам гуляли красноармейцы и командиры, вступали в разговоры с прохожими, и все наперебой рассказывали, какая счастливая у них страна и как все мы будем отныне счастливы. В общем, каждый военный исполнял роль агитатора. Жители города, разумеется, расспрашивали их без конца, и через несколько дней мы уже знали, что у них на все вопросы один ответ. О чем бы их ни спросили, ответ звучал: «У нас все есть». Шутки ради их начали спрашивать, есть ли у них холера, чахотка и т. д. Не очень понимая вопросы, да и не особенно вслушиваясь, они твердили как заведенные: «У нас все есть». Ну и тогда у белосточан начали зарождаться первые сомнения, которые еще больше усилились при виде алчности, с какой бойцы, в особенности командиры и их успевшие понаехать жены, набрасывались на товары в магазинах. Они скупали все. Причем происходило это так: военный входит в магазин и спрашивает, например, есть ли в продаже сорочки. «Есть», — отвечает продавец. «Дайте, пожалуйста». — «Сколько?» — «Все». И так на каждом шагу. Владельцы магазинов изо дня в день поднимали цены, но на то, чтобы их сравнять с советскими, им явно не хватало воображения. Нашим «освободителям» казалось, что они все приобретают едва ли не даром. В связи с этими покупками мне вспоминается один забавный эпизод. Недели через три после начала новой жизни в Белосток приехал, кажется из Минска, театральный ансамбль и начал выступать в здании городского театра. Назавтра после первого спектакля ко мне заходит мой одноклассник и говорит: «Пошли сегодня со мной в театр. Повеселишься всласть». Я отвечаю: «Что это ты надумал? Мы ведь не знаем языка, ничего не поймем». — «Ты уж поверь мне! Для этого зрелища знания языка не нужно». Итак, вечером мы с ним приходим в театр. Большинство публики составляют советские командиры с женами. И что оказалось? Все эти жены щеголяют в

длинных шелковых ночных сорочках, приобретенных в белостокских магазинах. Они думали, бедняжки, что это вечерние платья. Местные жители хохотали до слез, но ничего не говорили. Только спустя пять или шесть дней кто-то сжалился и объяснил одной из «модниц», в чем она ходит. Сорочки из театра исчезли.

Новые хозяева начали постепенно, но решительно устанавливать свои порядки. И здесь нас ждало немало горьких сюрпризов. К передаче в руки государства фабрик, мастерских, магазинов люди были, в сущности, готовы — все знали, что в СССР не существует частной собственности. Точно так же мало кого удивило запрещение деятельности всех политических партий. Но полной неожиданностью для нас, школьников, стало закрытие всех учебных заведений, где преподавание велось на иврите. Иврит, как оказалось, в Советском Союзе был запрещен, равно как и все остальное, связанное с идеологией сионизма и стремлением к созданию в Палестине еврейского государства. Для учеников нашей гимназии это было подлинным потрясением. Поначалу мы даже пытались организовать какие-то подпольные кружки — ведь, право же, нелегко одним махом зачеркнуть все, чем ты жил годами. Но наши учителя, узнав об этом, созвали несколько собраний, на которых умоляли нас отказаться от какой-либо нелегальной деятельности — все равно, мол, мы ничего не добьемся, а только навлечем несчастье на головы свои и своих семейств. Доводы были так убедительны, что пришлось согласиться.

Наша гимназия была преобразована в среднюю школу с преподаванием на идише. Я, как уже говорилось, перешла тогда во второй класс лицея, то есть училась уже двенадцатый год, но поскольку советские средние школы были десятилетками, то наш выпускной класс автоматически стал десятым. Польский язык как предмет в большинстве школ заменили белорусским. И тут оказалось, что преподавателей белорусского языка катастрофически не хватает. В так называемой освобожденной Западной Белоруссии почти не было представителей титульной нации, умеющих читать и писать на своем родном языке. Их присылали из советской Белоруссии, где их тоже не было в избытке. В связи с этим всем полонистам велели поменять специальность, и их срочно направили на курсы белорусского языка и литературы. Они учились и одновременно преподавали в школах. Моя мама тоже попала на такие курсы. Помню, как вечерами она зубрила стихи Янки Купалы и Якуба Коласа (мы очень веселились, узнав, что Колас на самом деле однофамилец классика польской поэзии Мицкевича[3]), а своих учеников в бывшей еврейской гимназии, а теперь средней школе она

опережала на один, максимум на два параграфа по учебнику. Для польской молодежи оставили несколько школ с преподаванием на польском языке, но их количество было мизерным.

Вскоре начались аресты. В первую очередь упрятали в тюрьмы бывших полицейских и вернувшихся с фронта офицеров. Потом взялись за «классовых врагов» — за решетку отправились фабриканты, богатые купцы, землевладельцы и т. п. Происходило это так: главу семьи судили, давали срок и отправляли в лагерь, а жену и детей ссылали в Сибирь или на Север. Впрочем, кое-кому попрозорливее и похитрее удалось избежать этой участи. Путь к спасению был следующим: сразу же после раздела Польши, в сентябре 1939 года, советское правительство передало Вильно и Виленскую область давно претендовавшей на них Литве (скорее всего, уже тогда планируя вскорости проглотить всю эту страну с Виленщиной включительно). Граница еще какое-то время оставалась открытой, от нас в Вильно ходили поезда, и практически каждый мог туда уехать. А в Вильно, тут же объявленном литовскими властями столицей, шла бойкая торговля паспортами разных стран. Легче всего было купить японский или палестинский паспорт. Позднее, когда Литва «добровольно» вошла в состав СССР, обладатели этих документов ехали транзитом в закрытых, но удобных вагонах через всю Россию — «японцы» во Владивосток, «палестинцы» в один из черноморских портов, а оттуда уже плыли на кораблях в «свою» страну. В 1940 году меня навестили ехавший таким образом в Палестину одноклассник Гершон Кон и направлявшаяся с родителями в Японию подружка Ида Подрабинек — в Москве они остановились на целый день, получили разрешение отлучиться от эшелона, а мой адрес им сообщил мой дядя, мамин брат, военный раввин Абрам Бромберг, который тоже ехал этим путем в Палестину, но которому, к сожалению, не разрешили в Москве выйти в город.

Увы, не всем, у кого хватило денег на приобретение паспортов, удалось воспользоваться ими до конца. Уже во время войны, в эвакуации в Сибири, в городе Бийске на Алтае, я встретила одного из самых богатых белостокских фабрикантов Зильберфенига с семьей и узнала об их злоключениях. Они своевременно подались из Белостока в Вильно, обзавелись японскими паспортами и сели в поезд, направлявшийся во Владивосток. Их было пятеро — глава семьи, его жена, два сына-студента и десятилетняя дочка. Но вдруг в Минске, в привокзальном ресторане, Зильберфенига увидел и узнал бывший рабочий его текстильной фабрики, довоенный подпольный коммунист. Он, разумеется, тут же доложил кому следует, что

вот, прикидывается японским гражданином его недавний эксплуататор из Белостока. Прямо в Минске всю семью сняли с поезда, взрослых арестовали, а девочку по просьбе родителей отправили обратно к родственникам в Белосток, где она потом погибла в гетто. Остальные получили сроки и попали в разные лагеря. Освобожденные в начале Отечественной войны по амнистии для бывших польских граждан, объявленной на основе соглашения с эмигрантским польским правительством в Лондоне, они все собрались в Бийске, узнав, что там живут многие сосланные белосточане. Мама мне рассказывала, что, когда первым там появился глава семьи, тощий, оборванный, без гроша за душой, все наши земляки буквально плакали от жалости (он был в Белостоке известной фигурой) и собирали для него одежду и деньги. Впрочем, в полном соответствии с поговоркой, что, пока жирный исхудает, из худого дух вон, Зильберфениг стал спустя некоторое время богатеем также и в Бийске. У него были, как оказалось, деньги в нескольких швейцарских банках, и его уполномоченные начали ему оттуда присылать разные товары, главным образом текстиль, которыми он успешно торговал. Он не был скупым и часто помогал нуждающимся белосточанам. Нам с мамой он тоже оказывал внимание, тем более что до войны был хорошо знаком с моим отцом. Правда, он к нам охладел, когда ему показалось, что его младший сын, Янек, начал за мной ухаживать. Он даже провел с мамой назидательную беседу, объяснив ей, что такой бесприданнице, как я, не место в их миллионерской семье. После войны они все через Польшу уехали в Австралию, где, как я полагаю, оба парня, Янек и Зигмунт, нашли себе подходящих невест.

Весной 1940 года появилась в «освобожденных» областях новая категория ссыльных. Дело было так: граница между советской и немецкой зонами оккупации была открыта всю осень и зиму 1939–1940 годов. И евреи толпами бежали на советскую сторону, особенно те, у кого здесь были родственники или знакомые, у которых можно было для начала остановиться. Через нашу квартиру тоже прошли десятки людей. Последним был мой двоюродный брат Роман Швизгольд с женой и отцом (его мама, старшая сестра моей мамы, осталась пока в Варшаве, намереваясь приехать чуть позже), которые, в сущности, поселились у нас. Беженцы направлялись главным образом во Львов и в Белосток, поскольку в этих относительно крупных городах легче было найти работу и жилье. И вот, когда они уже успели обосноваться и пустить корни в новых местах, сначала перекрыли границу, а потом началась паспортизация. Всем без исключения выдавали советские паспорта, но разные. Коренные жители

присоединенных территорий получали нормальные удостоверения личности, прибывшие же с немецкой стороны — так называемые паспорта минус сто один. С таким паспортом человеку нельзя было проживать ни в каких областных городах, стало быть, также во Львове и Белостоке. Его там не прописывали, а значит, он не мог рассчитывать ни на работу, ни на крышу над головой. Беженцы впали в панику и всячески уклонялись от получения паспортов. Тогда власти объявили, что те, кого не устраивает документ «минус сто один», могут записаться на возвращение на прежнее место жительства. И большинство людей решили вернуться. В том числе и мой двоюродный брат с семьей.

До сих пор неизвестно, что на самом деле произошло: то ли немцы отказались впустить евреев обратно, то ли советские власти совсем их об этом не просили, а просто воспользовались таким способом для составления списков непослушных беженцев. Так или иначе, но в одну из ночей всех записавшихся на возвращение в родные места повытаскивали из постелей и повезли. Но только не на запад, а на восток. На поселение. Помню, как рыдала Берта, жена моего кузена Романа, из-за невозможности взять с собой даже самое необходимое — на всех троих им разрешили везти пятьдесят килограммов багажа. Попали они на север, под Архангельск, на лесоповал (хотя Роман был инженером, окончившим за несколько лет до войны политехнический институт в Париже, а в СССР были позарез нужны специалисты с инженерным образованием), и слали нам оттуда отчаянные письма, жалуясь на голод и холод. К счастью, туда принимались продуктовые посылки, и мои родители регулярно их отправляли. Так же как и голодающей родне в Варшаве. Труднее всего было раздобыть продукты для этих посылок — время изобилия кончилось, и прилавки национализированных магазинов были полупустыми. Легче в этом отношении стало, когда я поехала на учебу в Москву и начала отправлять посылки оттуда — все-таки снабжение в Москве было лучше, чем на периферии.

Ну и с деньгами в нашей семье было туго. Правда, отец, знакомый с бухгалтерским делом, устроился главным бухгалтером на обувную фабрику, да и мама работала в школе, но цены уже тогда были у нас советские, а это значило, что те, кто не воровал, едва сводили концы с концами. А мои родители воровать почему-то не умели. Неудивительно, что в Москве я была одной из немногочисленных студентов нашего института, живших на одну стипендию. Родители могли, да и то с превеликим трудом, присылать мне деньги только на посылки, я

же, со своей стороны, старалась их заверить, что стипендии мне вполне хватает, что было чистейшим враньем.

Разделавшись с «классовыми врагами» и беженцами, власти принялись за политические партии. Первыми жертвами стали бывшие члены партий, казалось бы, идеологически близких коммунистам, — Польской социалистической партии (ППС) и еврейского «Бунда». Я до сих пор не пойму, почему социалисты — польские и еврейские — казались властям самыми опасными. Но это было так.

Схема действий оставалась прежней: партийцы попадали в тюрьму, а члены их семей — в ссылку. Я в то время как раз закончила школу, получила аттестат зрелости, и мы с родителями стали думать, что мне делать дальше. Мама не хотела, чтобы я уезжала из дома, но отец, который не сомневался, что как деятель сионистской партии он рано или поздно попадет за решетку, настаивал на том, чтобы я ехала учиться. Причем как можно скорее и как можно дальше от Белостока. Ну и разумеется, наш выбор пал на Москву, хотя должна сказать, что из нашего города туда поехало лишь три или четыре человека. Прежде всего из-за русского языка, которого, в сущности, никто не знал — весь этот год, как я уже писала, нас учили белорусскому; у меня аттестат и то был на белорусском языке, с отметкой «по беларуской мове выдатна», что значит «отлично». Большинство тех, кто хотел учиться дальше, пытали счастья во Львове или в Минске. Ну а мне подвернулся в библиотеке московский справочник для поступающих в высшие учебные заведения, а поскольку способности и интерес у меня были прежде всего к гуманитарным наукам, то я подыскала себе там Институт философии, литературы и истории, сокращенно ИФЛИ. Мой выбор был совершенно случайным, просто в списке специальностей литературного факультета там значилась романо-германская филология. Я понятия не имела, что ИФЛИ — один из лучших и самых престижных институтов не только в Москве, но и во всей стране и что конкурс на поступление там очень большой.

От нас нельзя было ехать в Москву без пропуска, а для получения пропуска требовалось приглашение. Я послала на литфак ИФЛИ свой аттестат зрелости и приложила письмо (знакомый родителей, бывший эмигрант из России, помог мне справиться с этой задачей) о том, что хотела бы попробовать сдать приемные экзамены, но поскольку я родилась и выросла в Польше, то прошу меня освободить от письменного экзамена по русскому языку, которым я пока владею очень слабо. В ответ пришло извещение, что я допущена к экзаменам и должна

явиться в институт не позднее 1 августа. Я из этого заключила, что на факультете пошли навстречу моей просьбе об освобождении от письменного экзамена, без труда оформила себе пропуск, купила билет и в последних числах июля, провожаемая взволнованными родителями и возбужденными подругами и друзьями, села в поезд. До Москвы с пересадкой в Минске добралась без приключений.

Москва, меня, разумеется, ошеломила. Я никогда не была в таком огромном городе, никогда не видела метро, на котором надо было ехать с Белорусского вокзала в Сокольники, где находился ИФЛИ, и не знаю, как бы я с этим справилась, если бы не дружелюбие прохожих. Это теперь ходят по Москве толпы иностранцев, которые внешним видом мало чем отличаются от местных жителей и на которых никто не обращает внимания. А тогда человек «из-за кордона» был редкостью, прямо-таки экзотическим явлением. К моему изумлению, оказалось, что, хотя одета я была более чем скромно, мой наряд так выделялся на общем фоне, что все узнавали во мне иностранку. Ну а когда вдобавок выяснилось, что я прескверно говорю по-русски, желающим помочь мне не было числа. Несколько человек разных полов и возрастов проводили меня до самых дверей института (на метро с пересадкой, а потом еще на трамвае). Там меня тоже встретили очень приветливо, дали направление в общежитие и поручили какой-то абитуриентке, приехавшей, как и я, из другого города, но, в отличие от меня, немного знавшей Москву, проводить меня туда.

В общежитии у меня завелись первые знакомые из числа советской молодежи. Это были абитуриенты из самых разных регионов страны, и, к своему огорчению, я узнала, что большинство из них пытается поступить в ИФЛИ уже не впервые — они сдавали приемные экзамены во второй или даже в третий раз. В основном это были девушки, потому что юноши после первой неудачной попытки, как правило, попадали в армию. Новые знакомые прекрасно ко мне относились, водили меня на прогулки по городу, расспрашивали о нашей жизни (я рассказывала как могла на своем ломаном русском языке), говорили о своей. И что меня, выросшую в Польше, поразило — никто ни разу не поинтересовался моей национальностью. Ну а через пару дней начались экзамены. Первый, по английскому языку, я сдала с блеском, приведя экзаменаторшу в полнейший восторг, поскольку уровень преподавания иностранных языков в советских школах был, как я убедилась впоследствии, ниже всякой критики и не шел ни в какое сравнение с польскими гимназиями. Следующим был экзамен по литературе. Принимал

его доцент ИФЛИ по фамилии Белкин. Я, заикаясь на каждом слове, объяснила, что среднее образование получила в Польше, где программа по литературе была совсем другая, нежели в СССР, и поэтому с русской литературой я знакома весьма поверхностно. Белкин отнесся к этому с пониманием и задал мне вопрос по Шекспиру. Я начала отвечать, но через несколько минут Белкин меня перебил, сказал, что почти меня не понимает и что если я знаю немецкий, то могла бы отвечать по-немецки. Я сказала, что знаю английский, но его, в свою очередь, не знал Белкин. Тут я вспомнила свой опыт с немецкими офицерами и предложила, что буду отвечать на идише, который ведь очень похож на немецкий. Белкин согласился, и в течение нескольких минут я рассказывала о «Гамлете» на идише. Тут Белкин перебил меня снова, спросив, не знаю ли я случайно иврита. Я ответила, что знаю. Тут он сказал: «Представь, я изучал иврит примерно четверть столетия назад, до революции, знал его тогда довольно прилично, мне интересно, все ли я позабыл. Попробуй отвечать на иврите». Дальше все пошло как по маслу, и спустя полчаса я вышла в коридор с отметкой «отлично». И эта пятерка оказалась не единственным результатом моего столь оригинального экзамена.

В аудитории в это время присутствовало несколько студентов четвертого курса, которые в порядке педагогической практики пришли послушать, как отвечают абитуриенты. Мой диалог с Белкиным произвел на них ошеломляющее впечатление, ничего похожего им раньше слышать не доводилось. Они выбежали в коридор следом за мной и представились: секретарь институтского комитета комсомола Анатолий Коркешкин (потом погиб на фронте), редактор институтской стенгазеты «Комсомолия» Семен Красильщик и Василий Кузнецов, просто студент, не занимавший никакой общественной должности. Что он делает теперь и жив ли вообще, не знаю; зато помню, что во время учебы на первом курсе он усиленно за мной ухаживал и несколько раз делал мне предложение. Я решительно отказывала, поскольку в Белостоке остался парень, которого я любила и за которого собиралась замуж. Когда началась война, я потеряла Василия из виду и встретила его случайно десять или двенадцать лет спустя. Он занимал к тому времени высокий пост в Министерстве иностранных дел. Во время той нашей единственной беседы я пошутила, что он должен быть мне от души благодарен: ведь если бы я, еврейка, не отвергла в свое время его предложений, он и мечтать бы не мог не только о карьере, но даже о самой скромной должности в МИДе. На это Василий со всей серьезностью ответил, что не раз думал об этом и признателен судьбе за то, что получилось так, а не иначе. Ну а

тогда, после экзамена, все трое заявили, что берут надо мной шефство и будут приходить на остальные мои экзамены. А кроме того, будут знакомить меня с Москвой.

Свое обещание они сдержали. Показывали мне московские достопримечательности, а с экзаменаторами по истории и географии провели такую подготовительно-разъяснительную работу, что те вообще почти не заставляли меня говорить. Географу я показывала на карте материки, моря, страны и столицы, историку писала на доске даты различных событий (в атласах я разбиралась хорошо, хронологию тоже знала прилично). Оба, конечно же, поставили мне пятерки. На сочинение по русской литературе я просто не пошла и спокойно ждала зачисления в институт. Я ведь на четырех экзаменах набрала 20 баллов. Правда, проходной балл составлял 23, но меня это вроде бы не касалось, поскольку от одного экзамена я была освобождена.

Увы, как оказалось, никогда нельзя быть ни в чем уверенным до конца. Неожиданно прибежал в общежитие до крайности взволнованный Красильщик. Рассказал, что возвращается с заседания приемной комиссии, где решили мне в приеме в институт отказать. Заместитель декана по фамилии Зозуля заупрямился, заявил, что ни для кого не следует делать исключений, у меня 20 баллов вместо 23, призыв в армию мне не угрожает, я спокойно могу за год выучить русский язык, а потом сдавать наравне со всеми. Присутствовавшие на заседании пытались Зозулю переубедить, но безуспешно. Я была просто в отчаянии. Столько усилий, столько нервов, столько денег (железнодорожный билет и содержание в Москве стоили немало) — и все напрасно. Меня душили слезы, но Красильщик сказал, что мои «болельщики» решили не сдаваться, что еще не все потеряно и завтра утром мы пойдем с жалобами в Комитет по делам высшей школы (аналог сегодняшнего Министерства высшего образования).

На следующее утро они пришли за мной с тремя готовыми заявлениями — от меня, от редакции «Комсомолии» и от вузовского комитета комсомола. Содержание их было вкратце таково: живя в Польше, я подвергалась дискриминации как еврейка, не могла рассчитывать на учебу в польских университетах, где для евреев установили «гетто в аудиториях», то есть им разрешалось сидеть только в левом ряду, и немногочисленные еврейские студенты в знак протеста слушали лекции стоя. Я надеялась, что в СССР, где все народы пользуются одинаковыми правами, мне удастся поступить в высшее учебное заведение. Но вот не удалось, на этот раз из-за моего нерусского

происхождения. Ведь даже в Польше, родись я в русской семье, я бы свой родной язык знала. А сейчас пострадала за то, что мои родители разговаривали со мной дома не по-русски, а на идише. Мы поехали в комитет, отстояли довольно длинную очередь к секретарше, так как людей с жалобами было немало. Наконец секретарша взяла наши бумаги, просмотрела и куда-то с ними вышла, а вернувшись, сказала, чтобы я пришла за ответом через два дня к десяти утра. В назначенное время мы явились туда, все четверо. К подъезду нельзя было протолкнуться, весь двор был забит не попавшими в институты абитуриентами и их родителями, подававшими апелляции. «Мой сын, — говорила громко одна из матерей, — все годы учился по математике на одни пятерки, а тут вдруг на приемных экзаменах получил тройку. Пусть ему разрешат сдавать еще раз». Примерно то же твердили все, и к дверям нас не пропускали, говоря: «Встаньте в очередь». Вдруг двери открылись, оттуда вышел вахтер и спросил громко: «Есть тут Эстер Гольдберг?» (такова была моя девичья фамилия). «Я здесь!» — крикнула я во весь голос. «Проходите». Все послушно расступились, я вошла внутрь, и вахтер повел меня на верхний этаж, в кабинет, как оказалось, самого председателя комитета Кафтанова. Я поздоровалась, а Кафтанов, не говоря ни слова, взял меня за руку, вывел на балкон и обратился к людям, толпившимся во дворе. «Я хочу всем вам сказать, — заявил он, — что наш комитет вмешивается в действия учебного заведения только в тех случаях, когда там действительно допускают несправедливость, как по отношению к этой вот девушке, которую вы видите». Затем он рассказал вкратце мою историю и добавил, что не хотел бы плохо думать о деканате филологического факультета ИФЛИ, но мое дело и впрямь попахивает дореволюционным антисемитизмом, с которым никто мириться не будет (тогда, как и потом не раз в течение последнего довоенного года, я убедилась, что в СССР в самом деле не было в ту пору государственного антисемитизма, он возродился и зацвел буйным цветом уже во время войны). Затем мы вернулись в кабинет, и Кафтанов вручил мне заранее заготовленное письмо в ректорат ИФЛИ, в котором рекомендовалось зачислить меня в институт с условием сдачи письменного экзамена по русскому языку в течение первых двух семестров.

Когда я пришла с этим письмом к ректору ИФЛИ Асееву, с ним чуть не случился инфаркт. Он немедленно продиктовал секретарю приказ о моем зачислении, а у Зозули, как мне рассказывали, были из-за меня большие неприятности. Словом, я стала студенткой филфака, в тот же день сообщила родителям телеграммой радостную новость, а назавтра поехала домой за

вещами.

Вскоре началась московская жизнь, первый год которой, проведенный в студенческом общежитии на Стромынке, я до сих пор вспоминаю с нежностью, хотя и бедствовала тогда ужасно. Учеба была очень интересная, товарищи по факультету — умные и образованные. В ИФЛИ собралась молодежная интеллектуальная элита того времени. В частности, там учились многие известные впоследствии поэты: Павел Коган, Сергей Наровчатов, Давид Самойлов, Семен Гудзенко, Юрий Левитанский и другие. Двое последних жили, как и я, в общежитии, и мы дружили. Все эти поэты публиковались тогда еще только в нашей «Комсомолии» и вне института их никто не знал, но мы, ифлийцы, не сомневались, что в будущем они прославятся.

Меня, выросшую в провинциальном городе, где всего-то был один театр, буквально ошеломила бурная и насыщенная культурная жизнь советской столицы. Все свободное от занятий время я проводила в музеях, картинных галереях, на выставках (студентов туда пускали бесплатно или по льготным дешевым билетам), старалась по мере возможности почаще ходить в театр. Поскольку я была вполне хороша собой, товарищи по институту за мной ухаживали и, зная мою страсть к театру, нередко приглашали на популярные спектакли. Семен Красильщик, в частности, регулярно водил меня в руководимый Соломоном Михоэлсом прекрасный еврейский театр. В первое же наше посещение этого театра оказалось, что я одна из немногих в зрительном зале понимаю, что говорят актеры. Я стала шепотом переводить Семену, который знал идиш очень неважно, старалась говорить как можно тише, но вдруг из соседнего ряда меня попросили переводить погромче, чтобы другие тоже слышали. В общем, к концу спектакля вокруг меня сгрудилась чуть ли не половина зрителей. Мне было и смешно, и грустно, что советская молодежь не знает родного языка (пожилая часть публики обходилась без меня), но, поскольку это повторялось буквально на каждом спектакле, то я постепенно привыкла.

Возвращаясь к ИФЛИ: оказалось, что я там не единственная студентка из бывшей Польши. Нас было три. На литературный факультет кроме меня попала Эда Елина (теперь Михальская, потом она уехала в Варшаву) из городка Сопоцкино около Гродно. Мы не встретились с ней во время приемных испытаний, потому что она успела до войны окончить два курса Варшавского университета по специальности «классическая филология» и была зачислена без экзаменов сразу на второй курс. Познакомившись в начале учебного года, мы очень подружились (дружим по сей

день) и поселились в одной комнате в общежитии. А на исторический факультет поступила Евгения Хигрина из Слонима (умерла в 1986 году в Париже). У нее была в Москве тетя, и Женя жила у нее, а не с нами на Стромынке. Но общее прошлое так нас сблизило, что мы все три держались вместе и помогали друг дружке как сестры. И, хотя волею судьбы мы большую часть жизни провели потом в разных странах, мы всегда оставались верны своей старой дружбе и не прерывали наших отношений. Впрочем, во время первого семестра мы узнали, что в институте, тоже на филфаке, на втором курсе, учится еще одна польскоговорящая студентка — Сарра Чудовская из Лиды. Она, правда, приехала в СССР за пару лет до войны, удочеренная тетей — старой большевичкой, и не пережила всего, что выпало на нашу долю в 1939 году, но все равно у нас с ней обнаружилось много общего, и мы подружились на всю жизнь. Теперь она живет в Канаде, куда, овдовев, уехала несколько лет назад к эмигрировавшей туда раньше единственной дочери.

Незаметно пролетел первый семестр. Я за это время сильно продвинулась в русском языке и зимнюю сессию без труда сдала на пятерки, хотя преподаватели замечали и отмечали мои языковые погрешности. На зимние каникулы я поехала домой. Кто мог знать тогда, что я в последний раз вижу отца, подруг и друзей, парня, с которым мы любили друг друга и собирались пожениться. Его звали Исай Дрогочинский, он учился в Белостокском педагогическом институте, и я уже почти договорилась в деканате своего факультета, что на следующий учебный год его переведут к нам (после выступления Кафтанова в мою защиту я в ИФЛИ могла многого добиться). Вместо этого он погиб в августе 1943 года во время восстания в белостокском гетто.

Две недели каникул в родном городе пролетели как одно мгновение. Встречи, прогулки, вечеринки, общение с родителями. Домой приехали студенты из Львова и Минска, мы делились впечатлениями, все меня расспрашивали о Москве. Многие из моих бывших одноклассников, которые не решились попытать счастья одновременно со мной и остались в Белостоке, готовились сдавать экзамены в институты ближайшим летом. Увы, они уже не успели. Я вернулась в Москву, полная приятных впечатлений, продолжала прилежно заниматься и строить планы на будущее. Пришла весна, приближалась новая экзаменационная сессия. А в Белостоке между тем события развивались так, как предполагал мой отец. Разделавшись с левыми партиями, власти принялись за польских либералов, за правых и за евреев-сионистов. Аресты начали с левого сионистского крыла, а так как

мой отец был членом центристской партии, то он провел еще несколько месяцев на свободе. И на всякий случай написал мне, ничего не объясняя, что если я захочу на летние каникулы поехать в какой-нибудь студенческий лагерь, то он непременно раздобудет на это деньги и пришлет мне. Я с негодованием ответила, что никакие лагеря мне не нужны и что я сразу же после сессии приеду домой. И вдруг в середине июня, когда я готовилась к очередному экзамену, ко мне прибежала подружка из Белостока, Саломея Оппенгейм, студентка Московского текстильного института (теперь она живет в Тель-Авиве, ее фамилия Хершенберг), и показала только что полученную телеграмму без подписи следующего содержания: «Родители Эстер уехали к кузену Роману. Пусть Эстер переедет к тебе». Я догадалась, что телеграмму отправил Исай и что сбылись худшие папины опасения, но тогда у меня еще была надежда, что родителей вместе отправили в ссылку. Так иногда бывало, и это, собственно, следовало из текста телеграммы. Я никуда не переехала, так как знала по опыту многих белостокских знакомых, что тех членов семьи, которых не было на месте в момент высылки, никто потом не разыскивал. Несчастная и расстроенная, я продолжала зубрить, понимая, что теперь уж точно не проживу без стипендии, которую давали только сдавшим все на отлично (одна четверка все же допускалась). Прошла неделя, и в самый канун войны я получила письмо. Мне не удалось его сохранить, но текст помню наизусть. Писала мама: «Дорогая моя, любимая доченька! Я проездом в Москве. Папы нету дома, домой пока не езжай. Папа здоров, но он не со мной. Я спешу, потому что вот-вот тронется поезд. При первой же возможности напишу снова». Таким образом я узнала, что папа остался в Белостоке в тюрьме, а мама ехала в ссылку одна. И где-то в пути ей удалось выбросить в окно письмо, то есть сложенный треугольником листок бумаги с адресом. Мне уже не раз рассказывали о такой традиции: человек, нашедший подобное письмо около железнодорожных путей, наклеивал марку и опускал его в почтовый ящик. Это было, пожалуй, единственным, что люди могли делать для жертв террора.

А возвращаясь к отцу, если бы его арестовали раньше и успели вынести приговор, он попал бы в какой-нибудь северный или сибирский лагерь и остался бы жив. Но мой папа не успел. Еще до суда над ним немцы напали на СССР, они же и выпустили его из тюрьмы, потом он попал в гетто и как член бывшего городского совета, а также совета при еврейской общине был назначен в юден-рат, то есть созданное по приказу немцев еврейское самоуправление в гетто. Я читала об этом периоде

папиной жизни в изданной в 1996 году книге «Белостокские евреи», отрывок из которой прислал мне из Тель-Авива мой друг еще по гимназии Барух Каплан. Автор, Вальдемар Монкевич, рассказывает там (том 2, стр. 153), что член юден-рата Якуб Гольдберг, бывший сионистский деятель, был активистом Еврейского союза борьбы, сотрудничавшего с польской Армией Краевой, перевозившего в гетто в бензоцистернах с двойным дном продукты питания, оружие и боеприпасы и доставшего для евреев с подходящей внешностью «арийские документы». Кроме того, вскоре после окончания войны мою маму разыскала в Москве бывшая узница гетто, а потом партизанка по фамилии Войсковская и рассказала, как, используя свои связи, отец снабжал их отряд оружием. И еще совершенно случайно, тоже после войны, я встретила в Москве у знакомой семьи из Белостока их чудом спасшуюся из лагеря смерти родственницу по фамилии Князева. У этих Князевых, как оказалось, жил в период оккупации мой папа (наша квартира находилась вне пределов гетто) и был в 1943 году вывезен в Майданек вместе с моей новой знакомой, ее мужем и дочкой. Мужчин отделили от них сразу по прибытии в лагерь, и больше они не увиделись. Она с дочкой уже была в списке на отправку в газовую камеру, когда в связи с тем, что Красная армия приближалась к Майданеку, администрация лагеря получила распоряжение жечь только мертвых, живых не трогать. Через пару дней их переправили в Освенцим, где они и дождались освобождения. Но среди узников, переправляемых из Майданека в другие лагеря, уже не было ни Князева, ни моего отца.

Обещанного письма от мамы я ждала много месяцев. Оказалось, что она тоже угодила в тюрьму, но только не в Белостоке, а уже в Сибири. Дело было так: их эшелон привезли в Алтайский край и распределили по совхозам. В совхозе, куда попала мама, их встретили довольно приветливо, расселили по избам местных жителей, после чего директор обратился к ним с речью, в которой заверил, что все они получат работу по специальности. Мама, конечно же, понимала, что учительствовать не сможет, но рассчитывала на какую-нибудь канцелярскую работу. Но назавтра их всех собрали, дали в руки лопаты и велели рыть ямы под уборные. Тут моя рассвирепевшая и не умевшая сдерживать себя мама закричала: «Ну да, двадцать четыре года советской власти вы по нужде ходили за сарай, и вам надо было везти польских интеллигентов за пять тысяч километров, чтобы здесь насаждать цивилизацию!» Женщина, у которой маму поселили, услышав об этом, прошептала в ужасе: «Ты сошла с ума! Ваш бригадир — стукач, это тебе даром не

пройдет!» И действительно, через пару дней маму арестовали, отвезли в тюрьму в Бийск — второй по величине после Барнаула город в Алтайском крае, — судили и приговорили к десяти годам лагерей по статье 58, параграф 10 — за религиозную пропаганду. Как я уже писала, мои родители были убежденными атеистами, но кого в суде это интересовало? Впрочем, в лагерь мама так и не попала, потому что почти сразу же после вынесения приговора стало известно об амнистии для всех бывших польских граждан, о которой я уже писала. Таким образом, мама просидела пять месяцев в бийской тюрьме (там, очевидно, ждали более точных указаний из центра) и вышла на свободу. Более того, ей вернули почти все вещи, изъятые при аресте, что было поистине редкостью. Мама, разумеется, тут же начала меня разыскивать, но за это время произошло столько событий, что найти меня оказалось задачей не из легких.

Нападение Германии на Советский Союз, о котором мы узнали в полдень 22 июня из радиообращения к населению наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, было для всех неожиданностью и потрясением. Люди, конечно, знали, что в Европе идет война, но ведь Советский Союз заключил с Германией договор о ненападении и агрессия ему вроде бы не угрожала. Оказалось, что это не так. Вся жизнь страны преобразилась буквально в один день. Охвативший людей патриотический пыл просто не поддается описанию. Молодежь толпами осаждала военкоматы — все рвались на фронт добровольцами. Я тоже вместе с однокурсниками побежала в райвоенкомат. Там просмотрели мои документы и сказали, что, прежде чем брать меня в армию, необходимо выяснить, где находятся и что делают мои родители, проживавшие на оккупированной в первые же дни территории (об их аресте и ссылке я, конечно же, умолчала), а пока что мне посоветовали вступить в комсомол, потому что стыдно девушке моего возраста быть вне этой организации. Я послушалась и в тот же день подала заявление. Меня вскорости приняли, и почти сразу же комитет комсомола нашего факультета направил меня вместе с еще тремя студентками (среди них была и Эда Едина) на курсы водителей грузовиков — водители-мужчины в большинстве были призваны в армию, и предприятия города остро нуждались в новых кадрах.

Тем временем нас выселили из общежития, потому что здание передали какому-то военному ведомству. Студентов в общежитии оставалось немного: часть ребят ушли воевать, а поскольку уже начались летние каникулы, молодежь из регионов, не занятых немцами, разъехалась по домам. Таких, как мы с Эдой, кому некуда было ехать, поселили в одной из школ в центре

Москвы. Места там было более чем достаточно, но вот кроватей не было, и спали мы на столах. Кроме того, мы опасались за свои вещи, потому что классы не запирались. К счастью для меня и для Эды, эти неудобства продолжались недолго. Как-то я случайно встретила на улице свою однокурсницу, москвичку Тамару Минц, и пожаловалась ей на наши обстоятельства. На это она сказала, что незадолго до войны умер ее разведенный с мамой отец и оставил комнату, в которой она, Тамара, прописана, но поскольку она живет с мамой, то комната пока пустует. Если мы с Эдой хотим, то можем там временно поселиться. Мы были в восторге и переехали в тот же день. Это оказалась просторная комната в самом центре города, в Калашном переулке, у метро «Арбатская», в большой коммунальной квартире, где кроме нас жило еще пять семьей — каждая в одной комнате. Мы с Эдой были ошарашены такими квартирными условиями (нам как-то не довелось бывать, живя в общежитии, у наших коллег-москвичей, а в Польше о так называемых коммуналках никто и слыхом не слыхивал), но нам объяснили, что большинство населения Москвы, Ленинграда и других крупных городов живет именно так, что это совершенно обыденное явление и только немногочисленные счастливчики из партийной и чиновничьей элиты имеют отдельные квартиры. Жилось нам, впрочем, в этой коммуналке очень хорошо, к нам каждый день приходили в гости товарищи по общежитию, поскольку проводить свободное время у нас было несравненно приятнее, чем в школе. И наша комната сделалась вскоре традиционным местом встреч бывших студентов ИФЛИ. Я пишу «бывших», потому что незаметно прошло лето, наступила осень, и тут оказалось, что ИФЛИ больше не существует. Его присоединили к Московскому университету, где до той поры не было ни философского, ни филологического факультетов. Ну и мы автоматически превратились в студентов МГУ.

Впрочем, об учебе никто из нас пока не думал. Надо было работать, добывать средства к существованию, помогать стране. Мы уже закончили свои курсы шоферов, сдали экзамены, получили водительские права и водили полуторатонные грузовики «ГАЗ 2А», принадлежавшие какому-то тресту общественного питания. Я проработала водителем всего три месяца, но с тех пор у меня на всю жизнь осталась непреходящая ненависть к автомобилевождению, и никакая сила не могла заставить меня сесть за руль (хотя у моего мужа была после войны машина «Победа»).

В период моего водительства темнело рано, фонари на улицах не горели, нельзя было также зажигать фары, потому что немцы начиная с июля чуть ли не каждую ночь бомбили город, и

на улицах было темно — хоть глаз выколи. К тому же стартеры на этих злосчастных полуторках почти не работали, а мой двигатель неизменно глох на малых оборотах. То есть стоило мне чуть притормозить, например, у светофора, как тут же приходилось вылезать из машины и заводить мотор вручную, крутя ручку, с чем я справлялась с огромным трудом.

16 октября немцы прорвали фронт под Москвой, началась паника, но одновременно город готовился к обороне. Тысячи и десятки тысяч добровольцев рыли на подступах к столице окопы, ну а мы на своих «газиках» возили им обеды и ужины. Это было довольно опасно, так как частенько приходилось ехать под обстрелом, но я тогда чувствовала, что нужна людям, и это придавало мне храбрости и силы. Знакомых у нас с Эдой оставалось все меньше — ребята, которых раньше не брали в армию по состоянию здоровья, ушли добровольцами в отряды народного ополчения, создаваемые для обороны Москвы. Подружки одна за другой уезжали в эвакуацию, обычно с родителями, вместе с предприятиями, на которых те работали. В числе других уехала и наша благодетельница Тамара Минц. В первых числах ноября она пришла попрощаться, сказала, что еще точно не знает, куда едет, но напишет сразу по приезде.

И тут я хочу рассказать о факте, который до сих пор давит на нашу с Эдой совесть. Квартирная плата была в СССР (так же как до недавних пор в России) чисто символической, за жилье платили буквально гроши, и Тамара, когда мы въехали в ее комнату, сказала, чтобы мы об этом не думали, она будет по-прежнему платить сама. Ну а в конце ноября мы тоже покинули Москву, уехав с университетом в столицу Туркмении, Ашхабад. Вначале нас с Эдой не отпускали с работы, но кто-то из деканата поехал в отдел кадров нашего треста и объяснил, что еще неизвестно, какова будет судьба Москвы, и нас как евреек необходимо эвакуировать, чтобы мы не попали в лапы к немцам. Этот довод убедил и нас, и наших работодателей, и нам разрешили уехать. Мы пытались узнать, как сообщить о нашем отъезде Тамаре, но в их коммунальной квартире к телефону никто не подходил. И мы уехали, оставив ключи у соседей. А после войны оказалось, что жилплощадь сохранилась только за теми, кто все годы платил квартплату, присылая ее по почте. Почти во все опустевшие квартиры в Москве въехали новые жильцы, а по возвращении прежних хозяев новоселов выселяли только в том случае, если старые жильцы все время платили. Мы, разумеется, не имели об этом понятия, мы даже не знали, куда и сколько нужно платить. Впрочем, об этом правиле не догадывались и многие постоянные жители столицы. Ну и в итоге

Тамара комнату потеряла. Отчасти по нашей вине. И, как я слышала от общих знакомых, никогда нам этого не простила. Что ж, ее можно понять: большая комната в квартире с удобствами в самом центре города была сокровищем, о котором москвичи порою напрасно мечтали всю жизнь.

Путешествие в Ашхабад было долгим и мучительным. Мы почти месяц ехали в так называемых теплушках, то есть в товарных вагонах, в которых установили нары и печки-буржуйки. В первую неделю пути нас несколько раз бомбили, но, к счастью, обошлось без жертв.

К месту назначения мы прибыли перед Новым годом — расстроенные, измученные и грязные. Вести с фронтов были трагичны. Питались мы ужасно, зачастую не хватало не только еды, но и воды для питья. Наш эшелон шел вне расписания и двигался только тогда, когда железнодорожный путь был свободен, то есть когда по нему не проезжали ни воинские эшелоны, ни нормальные поезда. Нам случалось стоять сутки и дольше в чистом поле, где не было ни колодца, ни даже какого-нибудь ручейка. Пока мы ехали по Сибири, воду — питьевую и для мытья — нам заменял снег. Но потом, в Средней Азии, никакого снега уже не было. За все эти недели мы ни разу не помылись как следует, не назовешь же мытьем обтирание снегом у вагона. А отойти от эшелона и пойти в баню мы не могли, даже когда случалась остановка где-нибудь в населенном пункте, потому что никто не знал, когда наш состав снимется с места. Результатом всего этого стали вши и сыпной тиф. В последнюю неделю пути мы каждый день останавливались в городах, где машины скорой помощи забирали из вагонов заболевших студентов.

В конце концов это кошмарное путешествие завершилось. В Ашхабаде прямо с вокзала нас повели в баню и санпропускник, где продезинфицировали все наши вещи, поскольку городские власти были предупреждены и знали, что мы с собой везем. К сожалению, несколько человек из нашего эшелона попали в больницу уже в Ашхабаде, и не всех удалось спасти. Ну а остальных студентов поселили в общежитии местного педагогического института (по двадцать с лишним человек в комнате), в здании же института вскоре начались занятия. Несмотря на конец декабря, погода была теплой и солнечной. Вообще зима в тех краях для нас, европейцев, — самое приятное время года. Летом стоит невыносимая жара (я знаю об этом по рассказам подруг, поскольку сама уехала оттуда в конце весны), которая усугубляется тем, что город со всех сторон окружен пустыней. Беженцы из европейской части СССР еще только

начали тогда прибывать, и местные жители, в основном туркмены, относились к нам с доброжелательным любопытством. Для нас, в свою очередь, многое там было интересно и непривычно. Мы, например, были приучены, что всюду кругом полно воров, которых нужно остерегаться. Иное дело в Туркмении.

Вскоре после приезда наш деканат стал подыскивать работу в первую очередь тем студентам, чьи семьи остались на оккупированных территориях и не могли поддерживать их материально. На стипендию в ту пору было уже просто невозможно прожить. Мне нашли работу в Горэнерго. Моей обязанностью было ходить по квартирам и, поскольку среди местного населения было еще множество неграмотных, проверять счетчики и выписывать счета за электричество. Служащий, который вводил меня в курс дела, сказал: «Вначале стучи в дверь, но, если никто не откроет, просто заходи внутрь. Туркмены, как правило, не запирают квартиры на время своего отсутствия». И самом деле, в первые пару месяцев я частенько бродила одна по чужим квартирам, ища счетчик, после чего уходила, оставив счет на столе. Я пишу «в первые пару месяцев», так как по мере увеличения числа беженцев доверие туркмен к ближним таяло и на дверях стали появляться замки и задвижки.

А были вещи, которые нас смешили и раздражали одновременно. Например, туркменские женщины, особенно пожилые, ходили по городу в нескольких юбках, надетых одна на другую, но явно без трусов. И в случае надобности останавливались посреди тротуара, расставляли ноги и справляли нужду, как лошади, даже не приседая. А поскольку они, как правило, не понимали по-русски, то совершенно не реагировали на наши замечания.

В свободное от работы время мы иногда посещали занятия, но не слишком часто. Все были голодны, даже те, кто пока не испытывал недостатка в деньгах. В пустыне ведь ничто не растет, и продукты питания всегда завозили в Ашхабад из достаточно отдаленных районов. Ну а в войну с этим становилось все сложнее. Никаких рынков вроде тех, какие я потом видела в Сибири, там не было, а полки магазинов пустовали. В педагогическом институте для студентов открыли столовую, где по талонам отпускали обеды, и туда выстраивались длинные очереди. Помню, как однажды, когда я стояла в такой очереди, к нам подошел профессор Радциг, читавший курс античной литературы, и стал нас уговаривать: «Товарищи студенты, ваша очередь подойдет еще нескоро, не бойтесь пропустить. Предупредите тех, кто стоит за вами, и пойдемте со мной

послушать лекцию. Очень вас прошу». Пристыженные, мы пошли за ним всей нашей группой, и действительно, большинство из нас успели потом к обеду.

Я забыла отметить, что в Ашхабад, так же как в Ташкент, Самарканд и другие города Средней Азии, приехало тогда много поляков. После амнистии прибывали целые эшелоны бывших польских граждан, сосланных в свое время в Сибирь и на Север. Намерзшись там, они жаждали тепла и, невзирая на все неимоверные трудности дороги, толпами подались в Туркмению и Узбекистан. Тем более что как раз в то время польский генерал Андерс начал там формировать свою армию (потом Андерс через Иран вывел эту армию за пределы СССР, и она сражалась с немцами сначала в Северной Африке, потом в Италии и в других оккупированных странах Европы).

Уже после войны я узнала, что мой двоюродный брат Роман с женой тоже приехали из Архангельской области в Самарканд (его отец умер в пути, наверное от голода, точно не знаю, потому что Роман избегал разговоров на эту тему и очень расстраивался), где прожили до конца войны. Роман работал на каком-то эвакуированном с Украины военном заводе. Он пытался попасть в андерсовскую армию, но туда из евреев принимали только кадровых офицеров, а Роман офицером не был.

После нескольких месяцев жизни в Ашхабаде меня неожиданно вызвали в ректорат. Я пошла туда встревоженная, не понимая, зачем могла понадобиться, а там секретарша проверила мое имя, фамилию, год и месяц рождения, после чего вручила мне письмо от мамы. Мама, как оказалось, безуспешно разыскивала меня уже довольно долго — мой старый, известный ей адрес был давно недействителен, ИФЛИ перестал существовать, все ее письма оставались без ответа. И вдруг, совершенно случайно, какая-то эвакуированная в Бийск москвичка (мама расспрашивала всех, кто, как ей казалось, мог что-нибудь знать) сказала, что ИФЛИ стал частью Московского университета, который будто бы эвакуировался в Ашхабад. Мама тут же написала ректору, умоляя его сообщить какие-нибудь сведения, и вот это письмо мне передала секретарша. Я была на седьмом небе. В тот же день отправила маме телеграмму, и между нами завязалась оживленная переписка — мы решали, кто к кому должен ехать, я к ней или она ко мне. Принимать решение надо было срочно, так как ходили упорные слухи, что на железной дороге вот-вот введут пропуска и нельзя будет никуда ехать без особого разрешения. Слухи эти действительно вскоре подтвердились, так что мама разыскала меня в самое время. Поначалу она склонялась к тому, чтобы приехать в Ашхабад, хотя

ей было жаль покидать Бийск, где жило много бывших ссыльных из Польши, причем самыми многочисленными были две группы: из Белостока и из Томашова Любельского. Очевидно, именно из этих городов вывозили в свое время людей на Алтай. У мамы был там ряд старых знакомых, но она хотела, чтобы я продолжала учебу, и была готова с ними расстаться. Я колебалась и приняла окончательное решение, когда прочитала в очередном мамином письме, что наши земляки пока что в Бийске не голодают, поскольку на местном рынке можно довольно выгодно выменивать на картошку кое-что из одежды. Это положило конец моим раздумьям, ведь мы в Ашхабаде давно уже позабыли вкус картошки, и я в тот же день побежала за билетом. Подружки давно уже меня уговаривали поступить именно так. «Как ты можешь даже думать о том, чтобы везти сюда маму? — твердили они. — Ведь мы тут все вскоре с голоду подохнем». Очевидно, после моего отъезда руководство МГУ пришло к этому же выводу, так как через несколько месяцев университет сменил место эвакуации и перебрался в Свердловск (теперь Екатеринбург), чтобы вернуться в Москву только в 1944 году.

Примерно спустя неделю я отправилась в путь, тепло попрощавшись с подругами (ребят уже практически не осталось, все были в армии, за исключением единиц, освобожденных по болезни). Мне было грустно и немного стыдно, что я их покидаю и неизвестно, увидимся ли мы еще когда-нибудь. Но, с другой стороны, перспектива встречи с мамой после без малого полутора лет разлуки и после всего, что каждой из нас пришлось за это время пережить, укрепляла мою уверенность в том, что я все же поступаю правильно. Путь оказался довольно долгим, главным образом потому, что у меня было целых три пересадки, и я каждый раз попадала на следующий поезд с превеликим трудом, проводя на вокзалах по несколько суток. Зато в поездах мне попадались симпатичные попутчики, в основном военные, то и дело подсовывавшие мне какую-нибудь еду, что меня буквально спасало, так как хлебные карточки у меня были ашхабадские, и в дороге я по ним ничего купить не могла.

Наконец я добралась до Бийска. Этот город со стотысячным населением на реке Бие был конечной станцией, здесь железнодорожные пути обрывались. И приходил туда всего один поезд в сутки. Мама, предупрежденная о моем приезде телеграммой, поджидала меня на вокзале ежедневно и в конце концов дождалась. Нашей радости не было предела. Мама снимала комнату в одноквартирном домике у местной семьи, то есть у матери с дочерью чуть моложе меня. Ее муж и сын были на фронте. Хозяйка по случаю моего приезда специально затопила

русскую печь на кухне и нагрела мне воду для мытья. Это меня очень растрогало, поскольку мама уже успела мне рассказать, что с баней в городе плохо, работает всего одна, да и то не каждый день, и туда выстраиваются длиннющие очереди.

Пока я мылась, к маме то и дело забегали знакомые узнать, приехала ли я. Оказалось, что среди белосточан есть и мои сверстники, правда из других гимназий, но я их помнила по довоенному времени. И в течение первых дней, когда нас без конца навещали люди, так сказать, из той жизни, у меня все время было ощущение, что вот, после долгого отсутствия я наконец вернулась домой. Неважно, что наше жилье было совершенно непохоже на белостокское; я была среди своих, с которыми меня связывали общие воспоминания и то, что нам нужно было столько рассказать друг другу. Белосточан в Бийске было несколько тысяч, поляков и евреев. В городе существовало официальное представительство польского эмигрантского правительства, старавшееся по мере возможности поддерживать и опекать бывших граждан Польши. Все эти люди, в том числе и моя мама, получили после амнистии временные удостоверения, в которых было сказано, что в будущем они подлежат обмену на польские паспорта.

Я была, пожалуй, единственной гражданкой бывшей Речи Посполитой, которая приехала в Бийск с обыкновенным советским паспортом. Неудивительно, что, когда я прописывалась (а без прописки нельзя было ни устроиться на работу, ни получить хлебные карточки), соответствующие органы обратили внимание на этот факт. И решили им воспользоваться, в чем мне вскорости пришлось убедиться. Но об этом после. А пока я принялась за поиски работы.

Речь могла идти только о физической работе — во-первых, потому что мой русский язык все еще оставлял желать лучшего, а во-вторых, то обстоятельство, что я была с оккупированной территории, к тому же из бывшей Польши, начисто исключало возможность какого-либо умственного труда. Впрочем, меня это не слишком огорчало, поскольку рабочие получали по карточкам 800 граммов хлеба в день, а служащие — только 600. Эти 200 граммов имели для нас большое значение, так как мама, страдавшая ишемической болезнью сердца, была к физическому труду неспособна, а на умственный не могла рассчитывать по тем же причинам, что и я. К счастью, у нее была врачебная справка о болезни, и благодаря этому она все же получала по 400 граммов хлеба как иждивенка. А хлеб был тогда нашей основной едой. Ну и картошка, на которую мы выменивали понемногу привезенные из дома вещи. Увы, этих вещей было мало изначально, и их

количество таяло с каждым днем. Словом, я согласилась на первую же предложенную мне работу и стала формовщицей на сталелитейном заводе, эвакуированном из города Николаева. Мы делали из песка и глины формы для литья. Работа была тяжелая, мы вкалывали по десять — двенадцать часов в сутки, как правило без выходных. Поскольку я совершенно не владела этой профессией, то справлялась с трудом, и все отнимало у меня больше времени, чем у моих более опытных коллег. В нашем отделе литейного цеха трудились одни женщины, хотя это, в сущности, чисто мужская работа. Непосредственно литьем занимались мужчины, освобожденные от армии как незаменимые специалисты. Формовщики, увы, не были незаменимыми. Проработав так месяца три, я была совершенно без сил, но, к счастью, в это время один знакомый из Белостока, работавший на спиртоводочном заводе (мужчин из Польши в Красную армию, как правило, не призывали), устроил меня туда в цех розлива, где спиртное разливали по бутылкам. Я была в восторге. Во-первых, работа там была несравненно легче, чем формовка, во-вторых, смена длилась не больше десяти часов, а в третьих, что самое главное, нам каждый месяц отпускали по государственной цене по два литра спирта-сырца, бывшего в ту пору в высшей степени конвертируемой валютой. Мы с мамой перестали голодать, она начала варить супы, а иногда даже покупала немного молока, которое колхозники продавали на рынке замороженным в лепешки. За вынос с территории завода даже четвертинки водки людей приговаривали к многолетним срокам заключения (по указу о хищении государственного имущества), но в цеху разрешалось пить сколько душе угодно. Я была там самая молодая, пить не умела совсем, и весь цех забавлялся тем, что приучал меня к этому занятию. Поначалу я пыталась сопротивляться, но потом сдалась, чтобы не портить отношений с коллективом, и через какое-то время выпивала уже за смену не меньше чем пол-литра, закусывая в лучшем случае маленькой луковицей или хлебной коркой. Остальные работницы по-прежнему считали меня непьющей, потому что сами они выпивали за это же время литра по два, по три, но лично я была вполне довольна своими успехами. В нашем цехе не только разливали водку, но и мыли стеклотару, в связи с чем мы всю смену ходили по щиколотки в воде. У других работниц была запасная обувь, которую они надевали, у меня же ее не было, и после смены я в совершенно мокрых ботинках выходила на, бывало, пятидесятиградусный мороз. И, к моему собственному изумлению, за все время работы на заводе я ни разу не простудилась. Этим я, несомненно, была обязана выпиваемой за

смену водке, и не жалею, что ее пила. Правда, позднее в течение многих лет не раз случалось, что это мое умение пить ставило меня в очень неловкое положение. Иногда в интеллигентной компании я забывалась и начинала прикладываться к спиртному как на нашем бийском заводе, совершенно при этом не пьянея. У меня было два мужа (обоих уже нет в живых), первый воевал на фронте в действующей армии, второй — в партизанском отряде в Белоруссии, оба научились там неплохо выпивать, но опрокинуть залпом стакан спирта, даже не поморщившись, умела только я, чем неизменно их поражала.

Между тем надо мной собирались тучи. Однажды утром, когда я готовилась идти на работу, в дверь постучали, и в комнату вошел милиционер в сопровождении какой-то женщины. «Проверка паспортов», — заявили они и велели нам предъявить документы. Посмотрели сначала мамино удостоверение, потом мой паспорт и спросили, почему они такие разные. Мы стали объяснять, но они сказали, что это очень странно, надо проверить и я должна немедленно идти с ними в отделение милиции. Паспорт милиционер спрятал к себе в сумку, а когда я пыталась отказаться идти в отделение, объясняя, что через неполный час должна быть на работе (примерно за год до войны вышел указ, по которому даже двадцатиминутное опоздание каралось тюрьмой), он сказал: «Не волнуйся. Мы знаем, где ты работаешь, и сообщим, что это мы тебя задержали». Делать было нечего, я пошла с ними. В милиции меня ввели в кабинет, где меня уже поджидал майор НКВД по фамилии Гуров. Я тогда еще не знала, что этот Гуров будет мне отравлять существование чуть ли не целый год, но все равно волновалась ужасно. Гуров начал меня расспрашивать о моем происхождении, образовании и других деталях биографии, которые, как я сразу заметила, были ему уже досконально известны, а потом заявил, что среди бывших польских граждан, которых в Бийске великое множество, полно врагов советской власти и органам НКВД необходимо знать, что они замышляют. Я ответила, что среди тех, с кем я общаюсь, врагов нету, а насчет остальных мне ничего не известно. Это не беда, успокоил меня Гуров, я должна только дать расписку, что буду им докладывать обо всех своих контактах и разговорах, а они уже сами разберутся что к чему. Я сказала, что, если мне встретится враг советской власти, я об этом немедля сообщу в НКВД безо всяких расписок, а подписывать ничего не буду. Гуров изводил меня часа два, причем в течение всего этого бесплодного разговора мы оба как заведенные повторяли одно и то же. Наконец, поняв, что пока ему от меня ничего не добиться, он позвал милиционера и велел отвести меня в КПЗ (камеру предварительного заключения),

находившуюся в том же здании, что и отделение милиции.

Милиционер втолкнул меня в довольно большую комнату, где стояло несколько нар и толпились заключенные обоего пола — воры, бандиты, проститутки и т. д., — которых еще не успели препроводить в тюрьму. Напуганная и несчастная, я забилась в угол, кое-как пристроилась на краю нар и просидела там до утра следующего дня, изредка засыпая. Оказалось, что тем временем моя мама, прождав несколько часов и видя, что я не возвращаюсь, побежала в польское представительство за советом и помощью. Глава представительства (не помню, как называлась эта должность) сказал, что дело серьезное, что сам он, к сожалению, именно из-за моего советского паспорта не может обратиться по моему поводу в милицию, но посоветовал маме немедленно туда пойти и потребовать объяснений. Сослаться в случае надобности на польское представительство и не уходить, пока ей не скажут, что им нужно от ее дочери. Мама так и сделала, но Гурова уже не застала, а в отделении ей сказали, что обратиться следует именно к нему. Назавтра мама явилась туда чуть свет, дождалась Гурова, и тот временно сдался, отпустил меня домой. Но при этом велел мне как следует все продумать и, когда меня вызовут в следующий раз, больше дурочку не валять. На мою просьбу вернуть паспорт он ответил, что получу я его, когда дам расписку. И предупредил, чтобы я никому ничего не рассказывала, потому что за болтливость буду строго наказана.

Мы обе с мамой были совершенно убиты. Насчет того, что я ни под каким предлогом ничего подписывать не стану, у нас никаких колебаний не было. Но мы понятия не имели, что делать. Спрашивать у кого-нибудь совета было действительно чрезвычайно рискованно. Мама рассказала мне, что незадолго до моего приезда в Бийск похожая история случилась с ее молодым коллегой, бывшим преподавателем белостокской еврейской гимназии Михаилом Беккером. Он был до войны подпольным коммунистом, теперь этого не скрывал, и, очевидно, поэтому органы НКВД решили его использовать. В Бийске после амнистии (его вместе с матерью сослали на Алтай как семью арестованного активиста «Бунда») Михаил работал техником на заводе. Однажды его вызвали в НКВД и предложили то же, что и мне. Он попросил дать ему время подумать и, придя домой, в отчаянии поделился с матерью. Та, ничего ему не сказав, побежала на завод и бросилась на колени перед его начальником, умоляя спасти сына. Начальник обещал этим заняться и действительно занялся: спустя два дня Михаила арестовали и приговорили к восьми годам заключения за разглашение государственной тайны. Его мать, которая чувствовала себя во всем виноватой, муж едва

удержал от самоубийства. Я знаю, что время от времени Михаил присылал родителям из лагеря отчаянные письма, а много лет спустя мне рассказали, что он оттуда так и не вернулся. При каких обстоятельствах он умер или погиб — неизвестно.

Словом, вся в терзаниях, я отправилась на работу, где, к моему удивлению, никто не поинтересовался, почему я накануне прогуляла, а в тот день явилась в середине смены. Очевидно, из НКВД их и впрямь предупредили. С той поры остальные работницы нашего цеха начали меня сторониться, а то и просто избегать. Мне это было крайне неприятно, но я старалась не обращать внимания, тем более что у меня были заботы посерьезнее. Через пару недель все повторилось: опять за мной пришел милиционер, и опять мы с Гуровым несколько часов толкли воду в ступе. Однако в его аргументации появился новый мотив: «Я знаю, что ты бы согласилась, ты ведь честная девушка, да к тому же комсомолка. Все дело в твоей матери — это она тебя настраивает против нас. Думаешь, нам неизвестны ее антисоветские настроения и неизвестно, за что она сидела?» Меня это ужасно волновало, так как я тревожилась за маму. И я без устали повторяла, что давно уже вышла из детского возраста и все решения принимаю самостоятельно. С той поры мои визиты к Гурову стали регулярными и проходили всегда по одному и тому же сценарию: за мной являлся милиционер, от Гурова я выслушивала то уговоры, то угрозы, иногда он даже размахивал у меня перед носом пистолетом, но должна сказать, что за все это время, даже когда он впадал в ярость, орал и топал ногами, он не ударил меня ни разу. Что при методах, как правило, применяемых в НКВД, было явлением прямо-таки необыкновенным. И я до сих пор не знаю, почему все происходило так, а не иначе.

О возвращении мне паспорта речь уже вообще не заходила. А через некоторое время я передала Гурову также комсомольский билет, прекратив таким образом свое членство в комсомоле. Произошло это так: я постоянно переписывалась с несколькими подругами по ИФЛИ и, поскольку, с одной стороны, боялась писать о своей эпопее с НКВД (во время войны письма официально проверялись военной цензурой), а с другой — не переставала об этом думать, я попыталась передать им, что со мной происходит, пользуясь литературными аналогиями. И однажды написала своей близкой московской подруге Лене Зониной (впоследствии известной переводчице с французского, автору нескольких книг о французской литературе), что некоторые официальные лица пытаются вопреки моим возражениям навязать мне роль Тани из «Жизни Клима Самгина».

Этот персонаж известного романа Горького был агентом царской охранки. И вот приходит от Лены ответ, в котором я читаю: «Я рассказала о твоих делах моей маме (ее мать была партийной активисткой, до 1938 года состояла членом Московского горкома ВКП(б), потом ее исключили из горкома и из партии, но она осталась верна своим убеждениям). Мама просила тебе передать, что если ты честная девушка и комсомолка, то должна согласиться». Я была изумлена и возмущена и во время очередного визита к Гурову, когда он опять заговорил о моем комсомольском долге, положила ему на стол свой членский билет, говоря, что раз мои представления о комсомоле столь отличны от представлений ряда знакомых мне людей, то я не считаю для себя возможным продолжать находиться к рядах этой организации. Гуров пришел в такую ярость, что я, к ужасу мамы, снова провела ночь в КПЗ и вернулась домой только на следующий день.

А потом мой мучитель придумал новый способ давления на меня: однажды утром, когда я пришла на работу, меня вызвал к себе начальник цеха и сообщил, что я уволена. На мой вопрос, почему, ведь я работаю не хуже других, он ответил, что это не от него зависит, таково распоряжение начальства. И с той поры пошло. Везде не хватало рабочих рук, а меня брали на работу и затем через несколько недель увольняли. Я была в отчаянии. Без моих хлебных карточек мы с мамой просто голодали, уехать я тоже без паспорта никуда не могла. Тем более что на железной дороге уже ввели пропуска. В конце концов я записалась на курсы медсестер, чтобы сбежать от Гурова на фронт. Счастливая, что мне удалось придумать выход из положения, я занималась усердно и была одной из лучших на курсах. И вот однажды, сидя на занятиях, я вижу в окно идущего по двору Гурова. И говорю своей соседке по парте: «Знаешь, меня сегодня или завтра отчислят». Она на это: «За что? Не дури, ты ведь у нас отличница!» — «Вот увидишь». Меня отчислили без объяснения причин в тот же день.

Решить проблему паспорта мне, по иронии судьбы, удалось благодаря конфликту между СССР и польским эмиграционным правительством. В связи с обнаружением немцами в Катыни, под Смоленском, захоронения нескольких тысяч расстрелянных польских офицеров и позицией советских властей, не признававших, что это дело рук НКВД, и утверждавших, что пленных офицеров казнили немцы, правительство генерала Сикорского в 1943 году прервало отношения с СССР. В результате в стране позакрывались все представительства этого правительства, а бывшим польским гражданам было велено

обменять временные удостоверения на обычные советские паспорта. Тех, кто отказывался это сделать, а таких было большинство, потому что люди опасались лишиться таким образом возможности возвращения в Польшу после войны, арестовывали, судили и приговаривали к двум годам лишения свободы по статье 192 тогдашнего Уголовного кодекса — «за нарушение паспортного режима». Милиционеры ходили по домам и тех, у кого еще не было советских паспортов, увозили в тюрьму. Мама тоже слышать не хотела об обмене своего документа, и мы с ней решили, что поскольку мне все равно терять нечего, то я пойду в тюрьму вместе с ней. Так мы и сделали. Когда пришла милиция с проверкой, никто у нас старые документы не спрашивал, а новых не было ни у меня, ни у нее. И нас забрали. В тюрьме нас разлучили и поместили в разных камерах. Да, я забыла отметить, что была в то время в очередной раз без работы и Гуров явно не знал, что со мной в эти недели происходит. А происходило, и не только со мной, нечто совершенно невероятное. Оказалось, что власти, очевидно, не желая раздражать союзные правительства, были заинтересованы в том, чтобы бывшие польские граждане не сидели по тюрьмам и лагерям, а соглашались брать новые паспорта. И вот через пару недель в тюрьме появился бывший глава польского представительства. Он расположился в канцелярии, к нему по очереди приводили заключенных, и он их уговаривал не ломать себе жизнь и менять паспорта. Заверяя при этом, что такой шаг никак не повлияет на послевоенную репатриацию. И люди один за другим соглашались. В итоге со всего Бийска в тюрьме остались вроде бы всего две непреклонных семьи — одна польская и одна еврейская. Остальные поддались на уговоры. Когда один из членов семьи давал согласие, к нему приводили в канцелярию родственников из других камер, и он уже их убеждал сам. Так и меня вызвали для беседы с мамой, и мы обе подписали заявления о выдаче нам новых паспортов.

Когда я вернулась в камеру и рассказала, зачем меня вызывали, мои сокамерницы, большей частью воровки, успевшие уже украсть у меня все, что было возможно, хохотали до упаду. По их словам, о такой утопической ситуации, когда можно снисходительно сказать начальнику тюрьмы: «Будь по-вашему, гражданин начальник, уговорили, пойду домой», — мечтают заключенные всей страны. И никто не поверит, что подобное в самом деле происходило. А ведь происходило.

Спустя пару дней нас с мамой опять вызвали в канцелярию, вручили новые паспорта, уже со штампом о прописке, и отпустили домой. Паспорта были, правда, временные, сроком на

один год, но это не имело значения. Такие паспорта выдавали советским гражданам в случае утери ими документов и т. д. Через год их обменивали на обычные пятилетние паспорта. Таким образом, после почти трех недель тюремного заключения мы вернулись восвояси. Хозяйка, правда, хотела было поначалу нас выселить и два наших небольших чемодана, то есть все наше имущество, уже стояли в сенях, но нам удалось ее убедить, что мы никакие не преступницы, и она оставила нас жить у себя. А поскольку, как оказалось, иногда даже в НКВД, подобно как и в других советских ведомствах, одна рука не знала, что делает другая, то Гуров, очевидно, так и не узнал, что у меня уже на руках новый паспорт и я поэтому несколько меньше от него завишу. Наши беседы повторялись регулярно все с тем же результатом, пока этому не положила конец моя новая — в некотором смысле — ситуация.

Дело в том, что вскоре после выхода из тюрьмы я познакомилась со своим будущим мужем Борисом Гессеном. Молодой московский инженер, он сразу же после защиты диплома в 1941 году пошел на фронт, в начале 1943 года был тяжело ранен в челюсть и после госпиталя, получив инвалидность, приехал к родителям, эвакуированным на Алтай.

Его отец, Арнольд Ильич Гессен, впоследствии известный писатель-пушкинист, по смешному совпадению попал, уже после ареста моей мамы, в тот же совхоз, куда ее сослали из Белостока, и в течение двух с лишним лет работал там заместителем директора, хотя, по моим наблюдениям, едва отличал корову от быка.

Борис, которому надоело сидеть в совхозе, приехал на несколько дней в Бийск и остановился у белостокской семьи, знакомой с его родителями по совхозной ссылке. Именно там мы и встретились, почти сразу приглянулись друг другу, и он стал регулярно приезжать, чтобы со мной повидаться (несколько десятков километров, зачастую в лютый мороз, на подножке вагона, потому что билеты без пропуска не продавались). Вместо цветов, которые поклонники традиционно преподносят девушкам, Борис, видя, как мы бедствуем, привозил с собой из совхоза то немного картофеля и овощей, то немного муки и крупы, за что мы ему были бесконечно благодарны. И однажды, не удержавшись, я ему рассказала о своих злоключениях с НКВД. Он очень разволновался и стал говорить, что мне необходимо во что бы то ни стало уехать из Бийска. Я и сама давно пришла к такому выводу, но понятия не имела, как это осуществить. Я уже пыталась было получить вызов из Московского университета (такой вызов заменял пропуск). Уверенная, что во время

всяческих реорганизаций и переездов мой аттестат зрелости, в свое время присланный мною в ИФЛИ, давно потерялся, я написала в деканат филфака МГУ, что, будь у меня на руках аттестат, я могла бы продолжить учебу на Алтае, но так как его, конечно же, не найти, то прошу восстановить меня в университете и прислать вызов. Ответ пришел на удивление быстро. Заказным письмом. В толстом конверте лежал мой аттестат зрелости. Я тогда плакала навзрыд.

И вот однажды, когда Борис приехал из совхоза и сидел у меня, явился милиционер. Увидев, что я не одна, он попросил меня выйти с ним в сени. Я послушалась, но следом за мной вышел Борис. Он был в военной гимнастерке, с орденом и несколькими медалями, а также с желтой нашивкой, выдаваемой после тяжелого ранения. Милиционер говорит: «Я вас не звал, мне нужна только она». А Борис в ответ: «У нас нет тайн друг от друга. Я хочу знать, в чем дело». — «А кем вы ей приходитесь?» — «Я ее муж». (Тут я должна отметить, что о браке между нами еще вообще не было разговора.) Милиционер растерялся и сказал: «Тогда подождите здесь, никуда не уходите. Я скоро вернусь». Он ушел и не вернулся ни в тот день, ни потом, хотя я прожила в Бийске еще несколько долгих месяцев. Надо сказать, что со стороны Бориса это был поистине героический поступок, акт высокого гражданского мужества. Ибо, как я не раз потом убеждалась, он испытывал, подобно большинству советских граждан, особенно интеллигентов, патологический страх перед органами власти. Очевидно, он и впрямь был в меня сильно влюблен.

После встречи с милиционером Борис заявил, что нам необходимо пожениться, поскольку, как он шутя объяснил, совесть коммуниста (в партию, как почти все солдаты, он вступил на фронте, написав заявление о приеме перед боем) не позволяет ему обманывать родную власть. Я согласилась без колебаний. К тому времени мы уже знали, что евреи, оставшиеся на захваченных немцами территориях, погибли почти все, и на встречу с Исаем я не надеялась. Борис мне нравился, да к тому же я была глубоко тронута его поведением. Возражения были у моей мамы, которая всячески отговаривала меня от этого брака, хотя и понимала, что это для меня единственный способ вырваться из Бийска. У нее не было возражений лично против Бориса, просто она была убеждена, что союз с человеком, рожденным в СССР, повлияет на всю мою дальнейшую жизнь, что я не смогу вернуться в Польшу. Ей не удалось меня убедить, а потом, увы, оказалось, что она была права.

Во время первой репатриации в 1946–1947 годах бывшим

польским гражданам не разрешалось вывозить с собой советских супругов. Я помню много трагедий, когда расставались любящие друг друга молодые пары, как правило, под давлением родителей. Одна моя подруга в Москве оставила мужу даже маленькую дочь, а сама, обливаясь слезами, уехала с родителями и, по дошедшим до меня слухам, добралась до Австралии. Детей можно было брать с собой, но для этого требовалось письменное согласие остававшегося супруга, а разобиженные жены и мужья такого согласия не давали. Впрочем, чаще всего дело было не столько в обиде, сколько в опасении репрессий при указывании в анкетах (а скрывать это было еще более рискованно), что имеешь ребенка за границей. У меня тоже ко времени репатриации уже был двухлетний сын, так что ни для меня, ни для мамы, которая и думать не могла о том, чтобы расстаться со своей единственной дочерью, вопрос об отъезде вообще не стоял. Тем более что к тому времени мы уже точно знали о гибели почти всех наших родных и близких в гетто и в лагерях смерти. К тому же, хотя спустя лет десять мы с Борисом развелись, тогда, в 1946–1947 годах, сама мысль о такой возможности казалась мне абсурдной. Кстати, в период нашего развода в 1957 году еще продолжалась вторая репатриация, организованная для тех бывших граждан Польши, которые попали в советские тюрьмы и лагеря в конце войны или сразу после нее (это были главным образом бойцы Армии Краевой — подпольного движения сопротивления оккупантам, подчинявшегося лондонскому правительству) и вышли на свободу только в 1956 году, после XX съезда КПСС. Тогда уже разрешалось брать с собой супругов, что мне совершенно не было нужно, но для отъезда детей по-прежнему требовалось разрешение бывшего мужа или жены. У меня к тому времени было уже двое детей, сын и дочь, и, таким образом, я снова не могла воспользоваться возможностью вырваться из клетки, так как Борис и слышать не хотел о том, чтобы его дети покинули СССР.

Но вернусь-ка я в Бийск. В марте 1944 года, уже замужней женщиной, я приехала в Москву. Борис как постоянный житель столицы и к тому же инвалид войны получил пропуск без труда и отбыл первым, после чего в Москве оформил (насколько я помню, за солидную взятку) пропуска для меня, своих родителей и сестры. Мою маму, поскольку она в Москве никогда не жила, нам удалось привезти только год спустя. Все еще опасаясь сюрпризов со стороны Гурова, я решила не искушать судьбу и приобрела билет на поезд не в Бийске, а на следующей более или менее крупной станции, кажется в Алтайске. Я поехала туда на санях, присланных родителями Бориса из совхоза, и только там вместе с

ними села в поезд.

Все прошло хорошо, никто не чинил мне никаких препятствий, и меньше чем через неделю мы приехали на место. Я была счастлива. Для меня начиналась новая жизнь, и, что самое главное, я исчезла из поля зрения бийского НКВД. У родителей Бориса было в Москве две комнаты в коммуналке в самом центре, на улице Горького (теперь Тверской), где кроме нас жили еще три семьи. Так как в начале войны я уже познакомилась с подобным типом жилья, это не стало для меня неожиданностью. Я даже не удивлялась, что старшие Гессены, у которых, как я успела узнать, была до революции комфортабельная шестикомнатная квартира в Петербурге (где они жили вдвоем, дети родились позднее), очень этими своими двумя комнатами гордились. Действительно, по тогдашним меркам это было шикарно. И мы все радовались, что их близкая родственница, пользовавшаяся этим жильем всю войну, исправно вносила квартирную плату и вообще все сохранила в полном порядке. Нам как молодой семье родители предоставили одну из комнат — большую, двадцатиметровую, — а сами с дочерью Диной поселились во второй, чуть поменьше. Мы прожили в этой комнате двенадцать лет, до 1956 года. Вначале там было вполне просторно, потом, в конце декабря 1944 года, у нас родился сын, вскоре приехала моя мама, мы приняли домашнюю работницу, молодую деревенскую девушку, потому что я училась, а Борис и мама работали. А в апреле 1953 года у меня родилась дочь. Таким образом, нас стало в комнате шестеро, и я до сих пор не пойму, как мы там помещались. А ведь мы были молодые, общительные, у нас было много друзей, которые то и дело нас навещали. Да к тому же улица Горького в Москве — такое место, что, куда ни пойдешь, проходишь мимо. Ну и как тут не забежать к друзьям поболтать? Дети так привыкли, что засыпали за занавеской под аккомпанемент наших разговоров и смеха и спали как убитые. Работница Клава Александрова вечерами большей частью уходила: сначала в школу рабочей молодежи, потом на вечернее отделение Института пищевой промышленности (она теперь инженер-технолог в Смоленске). Мама охотно составляла нам компанию, наши друзья ее очень любили. Также родители и сестра Бориса частенько заглядывали к нам из соседней комнаты, чтобы вместе попить чайку. Иногда, очень редко, просыпалась дочка Лена и начинала капризничать (сын Саша — никогда), и в таких случаях мы переносили чаепитие в комнату родителей.

Когда в 1956 году мы обменяли нашу комнату на отдельную двухкомнатную квартиру в этом же дворе, мне поначалу казалось, что там решительно слишком много места, да и на кухне было

скучновато без соседок. Ведь в этом есть своя прелесть, когда на газовой плите стряпают одновременно несколько хозяек, каждая на своей конфорке, беседуя на разные темы и делясь кулинарными рецептами.

В те годы, в сущности, вся Москва жила в коммуналках. Во всяком случае, среди наших друзей мы стали первыми обладателями отдельной квартиры. Жилищное строительство по-настоящему началось только при Хрущеве, во второй половине 1950-х годов. При Сталине жилые дома если и строились, то исключительно для партийной элиты. А ведь после революции люди в массовом порядке переселялись из деревень и местечек в большие города, где было легче найти работу и прокормиться. Число жителей Москвы, например, увеличилось в несколько раз.

И опять я возвращаюсь к 1944 году. Сразу же по приезде из Бийска я обратилась в деканат филологического факультета МГУ, и меня восстановили. К сожалению, хотя я в Ашхабаде училась уже на втором курсе, я не успела там сдать ни одного экзамена, и меня зачислили снова на первый курс. Тем более что была уже середина второго семестра. Поначалу я огорчилась, поскольку мне предстояло повторять материал, уже сданный мною в самый канун войны, но потом работы у меня оказалось свыше головы. Дело в том, что наш преподаватель латыни, дореволюционный еще профессор Попов, вдруг заявил, что у меня незаурядные языковые способности, я должна обязательно в будущем заниматься сравнительной лингвистикой, а для этого мне необходимо перевестись на классическое отделение, чтобы как следует изучить не только латинский, но и древнегреческий язык. Эта неожиданная перспектива меня поначалу не очень привлекла, я пыталась объяснить Попову, что поражаю его своим знанием латыни не потому, что я такая способная, а потому что, в отличие от других студентов, изучала этот язык в гимназии (в советских школах его не преподавали). Однако Попов продолжал настаивать и, более того, заявил, что будет со мной индивидуально заниматься греческим языком, чтобы я в конце семестра могла сдать по нему экзамен за первый курс. Тут уж я не могла отказаться и в течение оставшегося до сессии времени зубрила как проклятая. Причем не только греческий. Оказалось, что мне придется досдавать еще несколько предметов, которых не было в программе романо-германского отделения.

В итоге я все сдала успешно и потом никогда не жалела, что поменяла специальность: учеба на классическом отделении была действительно интересной, студентов там было немного, на нашем курсе, например, всего десять человек, но все способные, эрудированные и очень мне нравились. Правда, моя научная

карьера в области сравнительной лингвистики так никогда и не состоялась из-за моей неподходящей национальности. Я окончила МГУ в 1948 году, когда антисемитская кампания в стране близилась к апогею и почти все пути для евреев были закрыты. Но пока ничто не предвещало такого финала. Я с увлечением занималась, муж преподавал сопротивление материалов в Станкоинструментальном институте, который он окончил до войны, и одновременно работал над кандидатской диссертацией.

25 декабря 1944 года у нас родился сын. Это произошло несколько раньше, чем мы планировали, но все равно мы были счастливы. Назвали его Александром, выбрав нейтральное имя — не типично еврейское, но и не славянское. Малыш был очаровательный, хотя в первые годы жизни хилый и болезненный, что неудивительно, так как мало кто в стране тогда нормально питался, и мы в этом смысле не составляли исключения. Помню, когда Саше было несколько месяцев, он в очередной раз заболел, и по вызову из детской поликлиники пришел врач, старый еврей по фамилии Виленкин. Саша с грустью смотрел на него своими огромными карими глазами, и моя мама, приехавшая уже к тому времени из Сибири, сказала: «Смотрите, доктор, в этих глазах видна вся мировая скорбь еврейского народа». На что Виленкин ответил: «Поверьте мне, в этом возрасте мировая скорбь в глазах бывает только от недоедания. Независимо от национальности». И выписал мне направление в районную «молочную кухню», где я с тех пор каждый день получала для сынишки порцию манной каши и бутылочку кефира. И довольно скоро мы убедились, что доктор был прав: Сашин взгляд заметно повеселел.

А вскоре наступил долгожданный День Победы. В ночь с 8 на 9 мая все радиостанции Советского Союза передали сообщение о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Москву, равно как и всю страну, охватило ликование. Оставив Сашу на руках у мамы, я с утра побежала в город с двумя зашедшими за мной подружками. На улицах были толпы народа, совершенно незнакомые люди обнимались и целовались. У американского посольства, находившегося тогда, как и университет, на проспекте Маркса (теперь Моховая улица), рядом с Красной площадью, прохожие с криками радости подбрасывали в воздух американцев, работников посольства, которые тоже не смогли усидеть в своих кабинетах и вышли на улицу. На Красной площади невозможно было протолкнуться. Там тоже то и дело подбрасывали в воздух каких-нибудь известных деятелей. Мы с подругами, например, участвовали в таком подбрасывании Ильи Эренбурга, который в годы войны снискал себе огромную популярность своими в самом деле отличными статьями на злобу

дня, регулярно появлявшимися на страницах газеты «Красная звезда». Полная радостного возбуждения я вернулась домой, где застала маму в слезах. Мы уже довольно давно, со времени освобождения Белостока, а потом и Варшавы, знали, что погибли мой отец, мамины родители (папины умерли еще до войны), братья и сестры моих родителей, их дети. Но в тот день мама в который раз все это вспоминала и, вероятно, как и миллионы людей, потерявших своих близких, не могла безудержно радоваться победе. Мне стало стыдно, что я проявила такое отсутствие воображения и на столько часов оставила ее одну. Ну и потом мы уже до самого вечера плакали вместе, к удивлению моих свекра и свекрови, а также Бориса, вернувшегося после шумного празднества в своем институте.

Примерно в то же время мама нашла работу — она стала преподавать польский язык в Институте военных переводчиков. Это было для всех нас огромной радостью. Причем не столько потому, что ее заработок пришелся очень кстати для нашего скромного бюджета, сколько из-за прописки. Прописаться в Москве было тогда, как, впрочем, и сейчас, практически невозможно. Меня прописали, потому что я вышла замуж за москвича, а вот теща москвича уже не была для паспортного отделения милиции достаточно близкой родственницей. И тут вдруг оказалось, что Институту военных переводчиков позарез нужен опытный полонист, оформление же прописки (правда, в общежитии института) было для их ведомства сущим пустяком. Ну а уж потом смена адреса и перепрописка особой трудности не представляли.

Время шло, наступил 1946 год, все более реальными становились слухи о скорой репатриации бывших польских граждан. Мы уже знали, что не сможем ею воспользоваться, и в один из дней мама решила наведаться в польское посольство в надежде получить какие-нибудь сведения о моем кузене Романе Швизгольде, о котором мы ничего не знали с момента начала войны и который, по маминым предположениям, мог числиться в одном из репатриационных списков в посольстве. Спустя несколько часов мама вернулась сияя — результаты ее похода превзошли все ожидания: Роман не только числился в списке, но был уже вместе с женой в Москве — как инженер, специалист, нужный польской экономике, он подлежал репатриации в первую очередь. Для этого его вызвали из Самарканда в Москву и теперь оформляли документы. Мы связались с ними в тот же день и все четверо были на седьмом небе. В течение нескольких недель, до их отъезда, мы встречались почти ежедневно, без устали делясь воспоминаниями о пережитом и обсуждая планы на будущее.

Роман и Берта были сыты социализмом по горло и намеревались при первой же возможности податься из Польши на Запад. Не знаю, как им это удалось, но меньше чем через год они таки эмигрировали в Канаду. А пока, из Варшавы, они писали нам очень часто (переписываться с ними потом мы побоялись, письма с капиталистического Запада грозили крупнейшими неприятностями вплоть до ареста, и мы снова потеряли с ними связь, на этот раз уже навсегда) и в третьем или четвертом письме сообщили нам потрясающую новость: оказалось, что самая младшая мамина сестра, Хелена Райхер (урожденная Бромберг), не погибла, как остальные члены нашей семьи, а спаслась вместе со своей дочуркой Аней, родившейся уже во время войны, в 1940 году.

История их спасения стоит того, чтобы ее рассказать. Муж Хелены, врач Артур Райхер, происходил, что было у евреев величайшей редкостью, из семьи землевладельцев. У них было имение недалеко от Варшавы, я, к сожалению, не помню названия местности. Артур провел детские годы в деревне, потом тоже всегда приезжал туда на летние каникулы, и у него были друзья среди деревенских ребят. Когда в Варшаве евреев начали загонять в гетто, Хелена с Артуром решили не идти туда ни за что, бежали в ту самую деревню, и кто-то из бывших товарищей по детским играм приютил их с грудным ребенком. Там, должно быть, еще тогда не знали, что за подобное гостеприимство немцы карают расстрелом. Увы, в маленькой деревне трудно соблюдать конспирацию, и их счастье длилось недолго. Кто-то на них донес, и однажды утром в избу заявились два гестаповца. Проверили у Хелены с Артуром документы и велели им немедленно следовать за собой. Те сказали, что никуда не пойдут, для их семьи нужно всего три пули и они просят застрелить их на месте. Ошарашенные немцы пошептались, затем вышли в соседнюю комнату и сказали перепуганным хозяевам, что сейчас они уходят, но ровно через два часа вернутся и если застанут еще этих евреев, то казнят как их, так и всю хозяйскую семью.

Делать было нечего. Райхеры от души поблагодарили за оказанную им помощь, собрали вещи, попрощались, отправились прямо на станцию и на пригородном поезде приехали в Варшаву. Было еще не поздно, до комендантского часа оставалось время. Моя тетя Хелена за несколько лет до войны закончила в Варшаве сельскохозяйственный институт, а поскольку агрономия не принадлежала к числу специальностей, популярных среди польских евреев, то тетя была в институте чуть ли не единственной представительницей своей нации и за годы учебы подружилась с несколькими польками и поляками, с которыми

поддерживала отношения и потом. И они с Артуром решили попросить пристанища у кого-нибудь из этих друзей. Зашли в дом к одной семье, потом к другой, к третьей… Везде к ним проявляли искреннее сочувствие, предлагали еду, деньги, но никто не решился оставить их у себя ночевать. Все боялись. И вот Райхеры снова очутились на улице. Приближался комендантский час, и у них были на выбор две возможности: идти в гетто к своим или погибнуть. Насчет гетто они уже давно поклялись друг другу, что ноги их там не будет. Оставалось одно: умереть с достоинством, то есть покончить с собой. Хелена решила утопиться, а Артур, который хорошо плавал, сказал, что в последний момент он может испугаться смерти и выплыть, поэтому ему лучше броситься под поезд. Они пошли на железнодорожный мост, расцеловались на прощание, Хелена привязала себе к поясу Аню, Артур у нее на глазах погиб под колесами, после чего она прыгнула в Вислу. Очнулась же наутро в рыбачьей избушке на берегу. Рядом с нею на кровати лежала Аня, тоже живая. Оказалось, что хозяин избушки увидел, как она бросается в воду, прыгнул за ней и вытащил уже почти захлебнувшуюся, без сознания. Хелена поблагодарила его от всего сердца, но добавила, что он зря старался, у нее все равно нету другого выхода, она еврейка и должна умереть.

Рыбак, выслушав ее историю, сказал, что насовсем они с дочкой у него остаться не могут, но пусть пробудут тут несколько дней, а он за это время попытается им помочь. Для начала он попросил указать ему кого-нибудь, к кому можно обратиться за помощью, и Хелена после долгих колебаний дала ему адрес одной из подруг, которая накануне отказала им в приюте. Подруга была потрясена. Да, она струсила, это правда, но ей и в голову не пришло, что, выпроваживая их, она, в сущности, обрекает всех троих на смерть. И теперь она делала все, что в ее силах, чтобы искупить свою вину. Для начала она раздобыла для Хелены самое главное — польский паспорт. И моя тетя из Хелены Райхер превратилась в Анелю Макаревич. Под этой фамилией она не только дождалась конца оккупации, но и дожила до поздней старости, работая агробиологом в Варшавском университете и в Польской академии наук. Умерла она в Варшаве в 1990 году. Ее дочь Анна, которую спасли католические монахини, продержавшие ее до конца войны в монастырском приюте (у нее, в отличие от ее мамы, была семитская внешность, Хелене, вернее Анеле, люди то и дело говорили, что у нее, должно быть, ребенок от еврея; и, если бы не помощь монахинь, неизвестно, чем бы все кончилось) пошла по стопам отца, получила медицинское образование и до сих пор работает в Варшаве врачом.

После этого отступления я возвращаюсь к своей московской жизни. Положение евреев в Советском Союзе ухудшалось с каждым годом. Антисемитизм, которого, как я уже писала, совершенно не было в стране перед войной, возродился и расцвел пышным цветом. Началось это еще в военное время. Отчасти, быть может, потому что люди на оккупированных территориях, видя, что немцы творят с евреями, постепенно проникались убеждениями, что те принадлежат к какой-то неполноценной расе. Или, возможно, Сталин, который, как утверждают многие историки, всегда был антисемитом, но скрывал это по политическим соображениям, тут решил, что может дать себе волю.

При приеме на работу и на учебу для евреев установили какую-то неписаную «процентную норму», причем процент этот становился все ничтожнее. Потом в прессе началась так называемая борьба с космополитизмом. Слово «космополит», которое при этом режиме, проповедовавшем с момента своего возникновения лозунги интернационализма, должно было бы считаться комплиментом («космополит» значит по-гречески «гражданин мира»), приобрело вдруг бранный, унизительный оттенок. Космополит стал синонимом антипатриота, чуть ли не изменника родины, ну и главными космополитами были, разумеется, евреи, которые здесь чужие, прибыли неизвестно откуда (неважно, что сотни лет назад), не любят эту страну и к тому же скрывают свое еврейство. Газеты пестрели сообщениями о том, что фамилии таких разоблаченных «врагов народа», как Троцкий, Каменев, Зиновьев, на самом деле звучали — Бронштейн, Розенфельд, Апфельбаум[4], а такие-то популярные писатели, художники и другие деятели культуры пользуются псевдонимами вместо своих еврейских фамилий. И эти скрываемые фамилии тут же приводились…

Когда я училась на пятом курсе, решением Организации объединенных наций было создано государство Израиль. И кстати, в связи с этим событием я пережила много лет спустя несколько очень приятных минут. Дело было так: услышав по радио, что наконец сбылась мечта моего народа, которую тот лелеял в течении без малого двух тысячелетий, я испытала такое ликование, что мне необходимо было как-то излить свои эмоции. Я побежала на почту и отправила телеграмму в адрес действовавшего тогда в Варшаве Комитета помощи евреям, спасшимся от геноцида. Я поздравила всех соплеменников с великим национальным праздником и закончила традиционным древнееврейским пожеланием «лешана абаа ба Иерушалаим», что значит «на будущий год в Иерусалиме». Подумав, что, может быть, в этом комитете есть кто-нибудь из Белостока, я подписалась двойной фамилией — девичьей и новой. И вот в конце 1970-х годов звонит мне из Варшавы моя ифлийская подруга Эда и говорит, что кто-то из Израиля спрашивает номер моего телефона. Разрешаю ли я его сообщить (дипломатические отношения между СССР и Израилем были к тому времени давно прерваны)? Я разрешила. Спустя несколько недель зазвонил телефон, и незнакомый женский голос начал говорить на довольно корявом польском языке. Это была Хайка Гроссман — бывшая белостокская подпольщица и партизанка, а в Израиле видная общественная деятельница, член Кнессета (парламента). Она приехала в Москву в составе делегации из трех человек по приглашению Советского комитета защиты мира. Я навестила ее в гостинице «Украина», где она подарила мне свою книгу о белостокском гетто и много рассказывала о тех и более поздних годах. Во время беседы она внезапно спросила, не удивляюсь ли я, что она решила встретиться именно со мной, хотя в Москве проживает человек тридцать или сорок из Белостока, а мы с ней до войны, в сущности, почти не были знакомы. Я ответила, что да, удивляюсь. И тут услышала, что в 1947 году она работала в Варшаве в том самом комитете, куда я направила свою телеграмму. Оказалось, что поздравительных телеграмм пришло тогда из СССР множество, но все они были от различных правительственных и общественных организаций. А от частного лица моя телеграмма была единственной, и она до сих пор хранится в Израиле в каком-то музее. Я была очень горда собой.

В 1947 году Советский Союз проголосовал в ООН за создание еврейского государства и одним из первых его признал, что не помешало властям внутри страны почти сразу же начать разнузданную антисионистскую кампанию. Советские евреи были теперь, с одной стороны, антипатриотами, то есть

космополитами, а с другой — националистами, то есть сионистами. И то и другое было с официальной точки зрения непростительно. В такой политической атмосфере я окончила университет, и оказалось, что, хотя я была на своем отделении лучшей студенткой, доступ в аспирантуру был для меня закрыт: деканат и партком факультета отказали мне в рекомендации, а без нее нельзя было даже подать заявление и сдавать экзамены в аспирантуру. Причем рекомендация партийной и комсомольской организаций требовалась несмотря на то, что я ни в одной из них не состояла, была беспартийной. Тут я хочу отметить, что профессора кафедры классической филологии, в большинстве своем еще дореволюционные ученые, были этим возмущены и делали все возможное, чтобы преодолеть сопротивление администрации и партийного руководства, но их усилия ни к чему не привели. Очень характерен для обстановки тех лет следующий эпизод: меня вызвал к себе заведующий кафедрой, профессор Радциг, и сказал, что в Московском городском педагогическом институте уже второй год остается незанятым место аспиранта-«классика». В том институте нет отделения классической филологии и, следовательно, нет кандидатов в аспирантуру по этой специальности. Мне стоит попытать счастья. Кафедра дала мне рекомендательное письмо, на отсутствие на нем визы парткома никто там не обратил внимания, у меня приняли документы и допустили к приемным экзаменам. Их было четыре, я все сдала на отлично. Мои университетские профессора радовались вместе со мной и поздравляли с успехом, как вдруг мне позвонили из института и попросили срочно зайти к ректору. Я, удивленная, тут же побежала. Ректор, по фамилии, если не ошибаюсь, Щеголев, почти не ответив на мое приветствие, указал мне стул и сказал сурово: «Вот что, товарищ Гессен, я хочу вам объяснить следующее: в этом учебном заведении я хозяин, и я решаю, кого хочу иметь у себя в аспирантуре, а кого нет. Вы конкретно мне не нужны, и в аспирантуру я вас не принимаю. И подавать на меня жалобы в инстанции не советую, это все равно ни к чему не приведет. Прощайте». Я поняла, что дело безнадежно, и даже не пыталась возражать.

Позднее наши профессора честно пытались устроить меня хоть куда-нибудь на работу (на нашем факультете не было распределения, как на других факультетах и как вообще почти во всех вузах страны, выпускник получал так называемый свободный диплом и сам подыскивал себе место). Увы, безрезультатно. Время от времени мне звонили тот же Радциг, профессор Попов, профессор по римской литературе Пиотровский. Говорили, что там-то нужен преподаватель латыни, переводчик с английского

или французского, библиотекарь и они меня туда рекомендовали. Я шла по указанному адресу, меня приветливо встречали, расспрашивали о моих квалификациях, обещали работу. После чего я заполняла анкету и вместе с заявлением и резолюцией начальника соответствующего отдела сдавала ее в отдел кадров. Ну а через несколько дней, когда я приходила за ответом, мне говорили, что произошло недоразумение, обещанное мне место не освободилось, никаких вакансий нету. Я была в отчаянии, тем более что в это же время и, разумеется, по этим же причинам уволили с работы мою маму. Мы были теперь вчетвером на иждивении Бориса, а в СССР не только тогда, в трудное послевоенное время, но вообще никогда человек не был в состоянии один содержать семью.

Работу старались мне найти, конечно же, и все наши друзья. И вот однажды, уже в 1949 году, зашел приятель и сказал, что у него для меня отличная идея. Я ведь закончила гимназию с преподаванием на иврите, а он узнал, что Еврейскому антифашистскому комитету позарез нужен референт со знанием иврита. Они ищут уже давно, но оказалось, что в Москве никто этого языка не знает. Еврейский антифашистский комитет был создан во время войны. Во главе его стоял знаменитый актер, художественный руководитель еврейского театра в Москве Соломон Михоэлс. Кроме него в состав комитета входили многие известные еврейские писатели, актеры, художники. Главным предметом его деятельности был сбор средств среди евреев разных стран для борьбы с фашизмом. Конечно же, я отправилась туда в тот же день. Меня встретили с распростертыми объятиями, и после краткого экзамена (я перевела с листа статью из израильской газеты) ответственный секретарь заявил, что берет меня на работу. Я, как обычно, заполнила анкету, написала заявление, на которое секретарь тут же наложил резолюцию (никаких отделов кадров там не было), мне назначили приличную зарплату и велели в ближайший понедельник (дело было не то в среду, не то в четверг) к десяти утра явиться в комитет и приступить к исполнению своих обязанностей. Моей радости не было предела. Вся семья тоже была счастлива. Подруги и друзья, которым я тут же сообщила о своей удаче, радовались вместе со мной и от души меня поздравляли. Я едва дождалась понедельника и чуть ли не в половине десятого пришла на улицу Кропоткина (теперь Пречистенку). Каковы были мое изумление и ужас, когда я увидела опечатанную дверь в комитет и солдата с ружьем, охраняющего вход. Оказалось, что накануне комитет был распущен, а все его члены очутились в тюрьме. Все, кроме Михоэлса, который за несколько месяцев до

этого, будучи в служебной командировке в Минске, погиб, по тогдашней официальной версии, под колесами автомобиля. Я пишу «по тогдашней официальной версии», потому что спустя годы, когда мы начали узнавать правду, выяснилось, что его в Минске убили по указанию властей. Таким образом, моя карьера ивритского референта закончилась, не успев начаться.

И все же у этой истории было продолжение, правда, тоже окончившееся довольно быстро. Прошло несколько недель, в течение которых я по-прежнему безуспешно металась в поисках работы, как вдруг дома зазвонил телефон. Незнакомый мужской голос, удостоверившись, что он разговаривает именно с Эстер Яковлевной Гессен, велел мне явиться назавтра к одиннадцати часам утра в МВД на площадь Дзержинского (сегодня Лубянка; я указываю сегодняшние названия, так как после крушения советской власти почти всем улицам в центре Москвы вернули старые названия. А МВД — это бывший НКВД, поскольку в 1946 году народные комиссариаты переименовали в министерства, и Народный комиссариат внутренних дел стал Министерством тех же дел, отдельного ведомства по делам безопасности тогда еще не существовало, и центральным органом госбезопасности был сначала НКВД, а затем МВД) к капитану Ивановой, имея с собой паспорт. Мой собеседник спросил, все ли мне понятно, и, получив утвердительный ответ, повесил трубку, а я чуть не упала в обморок прямо в передней, у телефона. Ведь аресты среди евреев не только продолжались, но становились все чаще, и я не сомневалась, что меньше чем через сутки окажусь в тюрьме. Точно так же думали Борис, мама, свекор со свекровью, словом, вся семья. Они, правда, пытались меня успокоить, но видно было, что сами не верят тому, что говорят.

Расстроенные и несчастные, мы не спали всю ночь. Утром я сложила в сумку две смены белья, кусок мыла, зубную щетку и пасту, немного сухарей и сахара. Это был традиционный набор вещей, так называемая допровская[5] корзинка, которую люди, ожидавшие ареста, держали всегда наготове. Я со всеми попрощалась, взяла с Бориса клятву, что он будет заботиться о Саше и не бросит на произвол судьбы мою маму. Он хотел меня проводить, но я уговорила его не рисковать: вдруг его задержат вместе со мной.

После этих приготовлений я вышла на улицу, села в метро и приехала на площадь Дзержинского. Дрожа всем телом, я зашла в подъезд, указанный вчерашним собеседником. Там дежурный милиционер проверил мой паспорт и заглянул в какой-то список. Оказалось, что для меня заказан пропуск. И я подумала, что, быть может, мои дела не так уж плохи, ведь арестанту, чтобы попасть в

тюрьму, пропуск не требуется. Потом милиционер проверил содержимое моей сумки, велел оставить ее на контроле у входа и добавил с улыбкой: «Ты, милая, должно быть, перепутала, с этим приходят в соседний подъезд. Ну ладно, не забудь забрать сумку, когда будешь уходить». Затем он позвал дежурного и велел проводить меня к капитану Ивановой. Я зашла в кабинет, где за столом сидела женщина лет сорока в военной форме. Она приветливо поздоровалась со мной, извинилась за то, что вызвала меня так неожиданно, но дело не терпит отлагательств. Они давно и безуспешно ищут переводчика с иврита и хотят назначить меня на эту работу. Из дальнейшего разговора я поняла, что к ним попали бумаги, изъятые в Еврейском антифашистском комитете, в том числе моя анкета и заявление. Таким образом они узнали о моей квалификации. Перспективы, которые развернула передо мной Иванова, были поистине соблазнительны: высокий оклад, много свободного времени, потому что переводов с иврита не хватит на полный рабочий день, то есть, сделав что нужно, я смогу спокойно уходить домой. Поначалу мне присвоят звание младшего лейтенанта, а со временем смогу подняться даже до капитана. Я понимала, что в случае моего согласия наше материальное положение коренным образом изменится к лучшему. Но, с другой стороны, все мое окружение всегда старалось держаться от этого ведомства подальше. И было ясно, что, если я буду здесь работать, мы лишимся многих друзей, которые просто не захотят больше поддерживать с нами отношения. Словом, я была в ужасной растерянности и сказала Ивановой, что должна посоветоваться с мужем, а теперь хочу поскорее вернуться домой, потому что вся моя семья очень встревожена вызовом меня в МВД и нужно их успокоить. А ответ я дам через несколько дней. Иванова заявила, что несколько дней — слишком долгий срок, и в конце концов мы договорились, что я приду на следующий день после обеда. Дома мне безумно обрадовались и встретили так, будто я вернулась с того света. Правда, перспектива моей работы в МВД поначалу всех смертельно напугала. Характерной была реакция моей свекрови, которая воскликнула: «Бог ты мой, значит, теперь дома уже и поговорить нельзя будет!» Но чем дольше мы взвешивали все за и против, тем решительнее приходили к выводу, что мне нельзя отказываться от такого предложения. Прежде всего потому, что ни на какую другую работу у меня не было надежды, а жить ведь на что-то нужно. Ну и мы по очереди убеждали друг друга, что в МВД существуют разные отделы и переводы с иврита наверняка не имеют никакого отношения к тюрьмам, лагерям и т. д. Словом, когда поздно вечером позвонила капитан Иванова, у

которой не хватило терпения дожидаться следующего дня, я сказала ей, что согласна и приду в назначенное время.

Когда я назавтра пришла, Иванова усадила меня за письменный стол и дала заполнить анкету, совсем не похожую на те анкеты, которых я в поисках работы уже заполнила десятки и которые, как правило, помещались на четырех страницах. Тут страниц было больше двадцати, целая тетрадь. В самом начале полагалось расписаться в том, что меня предупредили: в случае указания ложных сведений я буду привлечена к уголовной ответственности. Затем я стала отвечать на вопросы. Они касались не только меня, моего мужа и родителей, но и дедушек, бабушек, дядей, тетей, двоюродных сестер и братьев — где живут, чем занимаются и т. д. Учитывая, что у моего отца было семнадцать, а у мамы девять братьев и сестер и, к счастью, отнюдь не все дожидались в Европе начала войны, часть из них еще в 1920-е и 1930-е годы эмигрировала в США, Канаду, Австралию и Палестину, мне было о чем писать в этой анкете. Я, правда, не знала, живы ли они все и что делают, так как уже лет десять у нас не было с ними контакта, но их имена, фамилии и страны проживания я помнила. И в растерянности сказала Ивановой, что мне, пожалуй, нет смысла заполнять анкету — при таком количестве родственников за границей меня все равно на работу не примут. Но та ответила: «Брось, пожалуйста! С этими языком нам человека с приличной анкетой не найти. Ты по крайней мере молодая, а тем немногим, кого удалось разыскать до тебя, было всем под шестьдесят, что для нас полностью отпадает». В общем, я просидела над анкетой часа два, справившись с этим, написала под диктовку Ивановой заявление с просьбой зачислить меня на должность переводчика с иврита, и она куда-то вышла с моими бумагами. Через некоторое время вернулась со словами: «Все в порядке, тебя утвердили. Теперь осталась последняя формальность: медицинская комиссия. Она у нас очень строгая, поэтому, если у тебя какие-нибудь нелады со здоровьем, скажи, я поговорю с заведующим нашей поликлиникой, чтобы не было никаких неприятных сюрпризов. Мы в тебе очень заинтересованы». Высокие требования медицинской комиссии в этом ведомстве нетрудно было объяснить: пенсии по старости и по инвалидности были при Сталине такими мизерными, что их едва хватало на хлеб. Только Хрущев в середине 1950-х пересмотрел эту систему и повысил пенсии. Но в НКВД, а затем в МВД в полном соответствии с известной истиной, что в СССР все равны, но некоторые равнее, пенсия после ухода на покой была немногим ниже получаемой раньше человеком заработной платы. Неудивительно, что туда

брали на работу только молодых и совершенно здоровых. Увы, обо всем этом я узнала слишком поздно. А тогда я заверила Иванову, что являюсь образцом здоровья. Это соответствовало истине лишь за одним маленьким исключением: у меня с рождения плохо видит левый глаз, и я всю жизнь читаю только правым. Я и сама долгие годы не имела об этом понятия, потому что совершенно этого своего недостатка не ощущала. Узнала я о нем только в начале войны, когда мне проверили зрение на курсах шоферов. Но тогда никто не придал этому особого значения, и неудивительно, что я напрочь об этом забыла. Да если бы и помнила, вряд ли сочла бы нужным предупредить Иванову: ведь меня брали не в снайперы, а в переводчики.

Словом, назавтра я отправилась в поликлинику МВД с направлением на обследование. Мне до сих пор не забыть злорадство, с каким я переходила из кабинета в кабинет: мой «пятый пункт» у всех вызывал изумление. Вероятно, уже ряд лет здесь не проходил медосмотр ни один еврей. Буквально все сгорали от любопытства и настойчиво расспрашивали меня, на какую работу меня берут в министерство. Я же отказывалась отвечать, заявляя, что это государственная тайна. Наслаждаясь их разочарованием, я уже под самый конец зашла к окулисту, и тот, к моему ужасу, меня забраковал. Сказал, что с таким дефектом зрения в их министерстве работать нельзя. Иванова, к которой я прибежала прямо оттуда, пришла в ярость и отчаяние. «Я же тебя специально спрашивала!» — кричала она. И прямо при мне позвонила заведующему поликлиникой, но тот сказал, что его следовало предупредить заранее. Теперь он уже ничего сделать не может, только через полгода, когда сегодняшние документы сдадут в архив, меня можно будет вторично направить на комиссию. Раньше, увы, никак нельзя. Я твердо обещала расстроенной Ивановой, что через полгода явлюсь к ней снова, и отправилась домой. Я тоже была ошарашена и огорчена, но при этом думала, что это, быть может, перст судьбы: Бог не хочет, чтобы я работала в этом ведомстве даже на безобидной должности переводчицы с иврита.

И в самом деле, судьба сжалилась над нами: спустя два или три месяца маме позвонила ее бывшая коллега по Институту военных переводчиков и сказала, что в журнале «Советская литература» на иностранных языках создается польское издание и там нужны переводчики на польский, правда, для внештатной, но постоянной работы. Волнуясь, мы пошли туда обе на следующий же день. Нас принял ответственный редактор польского издания Валериан Арцимович — переводчик польской поэзии, бывший майор 1-й Польской армии, сформированной в СССР, поляк,

рожденный в России и до войны уже успевший побывать в лагерях из-за своего польского происхождения. (Его освободили досрочно, так как, когда в СССР в 1943 году начали формировать Польскую армию — поначалу Дивизию им. Костюшко, — оказалось, что среди бывших граждан Польши, годных к военной службе, почти не осталось этнических поляков, всех увел с собой генерал Андерс. И тогда стали советских поляков выпускать из лагерей — не формировать же, в самом деле, польскую дивизию из одних евреев.) Арцимович, побеседовав с нами, велел нам сделать пробные переводы и примерно через неделю, когда их одобрила внештатный редактор-стилист Мария Долинская, объявил нам, что мы выдержали испытание и отныне будем регулярно переводить для журнала. А еще через какое-то время, когда я принесла очередной перевод, Арцимович предложил мне штатную должность контрольного редактора. Моей радости не было предела. Поначалу я, правда, опасалась, что меня, как всегда, не утвердит отдел кадров, но потом поняла, что для некоторых специальностей в этом смысле делаются исключения. Ведь польским читателям «Советской литературы» трудно было бы объяснить, что тексты переведены неграмотно по той причине, что в Москве нет людей с подходящей анкетой, хорошо знающих польский язык. Те этнические поляки, которые не ушли с генералом Андерсом, в подавляющем большинстве репатриировались в 1946–1947 годах, и у отдела кадров не было выбора (точно так же, как незадолго до этого — у отдела кадров МВД).

Меня утвердили. И конечно же, когда ровно через полгода после того злополучного медосмотра позвонила капитан Иванова, я ей сказала, что вопрос о моей работе в МВД снят с повестки дня, поскольку я уже работаю в другом месте. А еще через год, когда нам добавили в штатное расписание вторую редакторскую должность, на нее опять-таки приняли еврейку, Анну Крейдлину из Ровно, которая как раз окончила польское отделение филфака МГУ. Во время войны в Ровно у нее погибли родители и брат (сама она накануне войны приехала в гости к московской тете), а воспользоваться репатриацией она не смогла по той же причине, что и я: у нее тоже был муж, родившийся в СССР, и маленький сын от этого брака. Чуть позже в том же 1950 году у нас появилась еще одна сотрудница (два корректора и машинистка, пожилые женщины, работали в редакции с самого начала), редактор-практикант, на этот раз чистокровная полька, родившаяся в Польше, Эва Василевская, дочь известной писательницы и общественной деятельницы Ванды Василевской, чьи ортодоксально коммунистические взгляды она, кстати

сказать, никогда не разделяла. Мы все три дружно работали вместе более сорока лет, до момента закрытия нашего журнала. Впрочем, у Эвы был в штатной работе длительный перерыв, о причинах которого мне хочется рассказать.

Эва, как уже говорилось, поступила на работу в качестве редактора-практиканта. Из самого названия следовало, что это занятие временное. И действительно, редакторы-практиканты из других языковых редакций (наш журнал выходил в ту пору на пяти языках — польском, английском, испанском, немецком и французском, позднее появились также японское, венгерское, чешское и словацкое издания), попрактиковавшись у нас, находили себе работу в других местах. Но организаций, где требовался бы редактор со знанием польского языка, в Москве тогда практически не существовало. Неудивительно, что Эва расстраивалась по этому поводу, и, проработав у нас пару лет, на очередном производственном совещании, которое проводил тогдашний главный редактор журнала Николаев, она попросила слова и сказала, что хотела бы узнать, какие у нее перспективы на будущее. Нельзя же быть практиканткой до бесконечности. О чем, мол, думало руководство, учреждая такую должность? Николаев очень смутился (как-никак претензии предъявляла дочь Ванды Василевской, с которой нельзя было не считаться) и ответил, что Эва совершенно права, руководство в ближайшее время займется этим вопросом и какой-нибудь выход, несомненно, найдется.

Выход действительно нашелся очень скоро: Николаев и его заместитель Яковлев оперативно решили, что проще всего будет уволить меня и на мое место назначить Эву. Они вызвали моего начальника, Арцимовича, и сообщили ему о своем решении. Я знаю, что Арцимович возражал и всячески пытался меня отстоять. Во-первых, он меня ценил как работника, а во-вторых, был возмущен такой вопиющей несправедливостью. Но начальство ему заявило, что в нашей редакции неприлично много евреев (наша машинистка и одна из корректоров тоже были еврейками), что Анна хотя бы комсомолка, а я даже этим похвастаться не могу. Кроме того, они знают, что я хорошо перевожу и постоянно подрабатываю переводами для журнала, так что без куска хлеба не останусь, смогу переводить и дальше. Когда Арцимович, вернувшись от начальства, передал мне этот разговор, я была совершенно убита: прежде всего это значило, что мои заработки сократятся как минимум вдвое. Ну и меня удручала моя полнейшая беспомощность в этой безобразной истории. Я решила объясниться с Эвой, но не успела: на следующий день, когда ее вызвал к себе Николаев (я, считая, что терять мне уже все равно нечего, пришла на работу с большим опозданием) и сообщил,

какой прекрасный выход найден руководством, Эва прямо тут же в кабинете попросила дать ей листок бумаги и написала заявление об уходе. Потом вернулась в нашу комнату, сказала мне, чтобы я не волновалась, она не намерена строить свою карьеру на чужих костях, попрощалась с нами и пошла домой. С той поры она много лет работала у нас в качестве внештатного переводчика. Кроме того, переводила понемногу на русский язык произведения польских авторов и, главное, писала детские сказки. У нее в разные годы вышло несколько сборников этих сказок. На штатную же работу в нашей редакции она вернулась без малого четверть века спустя, во второй половине 1970-х годов, уже в совершенно ином качестве. Тяжело и неизлечимо заболел Валериан Арцимович (вскоре после этого он скончался), и тогдашний главный редактор журнала, писатель Савва Дангулов, предложил Эве должность ответственного редактора нашего издания. С той поры и до самого закрытия журнала в 1991 году она была нашей начальницей, и нам очень хорошо работалось вместе. Теперь она не работает, но активно занимается общественной деятельностью, состоя членом правления организации польского землячества в России «Польский дом». А я всю жизнь помню ее благородный поступок 1950-х годов, потому что убеждена: далеко не каждый повел бы себя так и подобной ситуации.

Стоит добавить, что после этого эпизода руководство нашего журнала взялось за ум и должность редактора-практиканта переименовали в помощника редактора. А в 1959 году вообще ликвидировали эту должность, в сущности, совершенно ненужную.

Время шло. Саша был уже школьником и прекрасно учился, я с удовольствием работала, поскольку и сама работа мне нравилась, и коллектив у нас был симпатичный, и зарабатывала я неплохо. Мама тоже переводила для нашего журнала, а кроме того, начала составлять учебник польского языка для вузов. Борис защитил диссертацию и преподавал в своем же институте. То есть в нашем маленьком мирке все пока обстояло неплохо. Хуже было в окружающем мире. В конце 1951 и 1952 году в СССР началась новая, невиданная по масштабам антисемитская кампания с чудовищными обвинениями, напоминавшими средневековые и более поздние кровавые наветы. Большая группа ведущих врачей кремлевской больницы, в основном евреев (Вовси, Раппопорт и др.), были арестованы за то, что они якобы умышленно неправильно лечили и таким образом привели к смерти руководителей коммунистических партий не только Советского Союза, но и других стран (например, члена Политбюро ВКП(б)

Щербакова или премьер-министра Монголии Чойбалсана). О врачах-убийцах писали все газеты. А надо сказать, что характерной чертой советских людей было и, в сущности, остается до сих пор непоколебимое доверие к печатному слову. Помнится, когда в 1963 году я, получив наконец разрешение, впервые после войны съездила с туристической группой Союза писателей в Польшу и потом друзья расспрашивали меня о впечатлениях (тогда еще мало кто выезжал за границу), я говорила, что главное бросившееся мне в глаза различие между польскими и советскими гражданами следующее: когда поляк замечает, что все газеты начинают твердить одно и то же, он сразу подозревает ложь. А люди в СССР, наоборот, убеждены, что если о чем-то написали газеты, значит, это правда, не подлежащая сомнению.

Но вернемся к 1952 году. Аресты среди врачей (и не только) принимали угрожающие размеры, Москва буквально кипела. В городских поликлиниках и больницах врачи-евреи составляли очень большой процент, ведь медицина была традиционной еврейской профессией еще даже до революции. И теперь русские люди отказывались пользоваться услугами представителей этой национальности, опасаясь, что те будут пытаться их убить. В медицинских учреждениях были непрерывные скандалы, устраиваемые напуганными пациентами. А среди евреев царила паника. Ходили упорные слухи, что властями разработан следующий сценарий: врачей-убийц приговорят к смертной казни. После публичного исполнения приговора на Красной площади в Москве во многих городах начнутся погромы, и евреев, якобы спасая их от народного гнева, депортируют в Сибирь. Теперь уже известно, что было заготовлено письмо Сталину видных деятелей культуры, евреев по национальности, с просьбой о депортации как единственном способе спасения. А в Северной Сибири для евреев строили бараки. Причем местная администрация была поставлена в известность о количестве требуемого жилья: из европейской части страны вывезут около трех миллионов человек, примерно половина умрет в дороге, так что надо рассчитывать миллиона на полтора. К счастью, Сталин умер, и благодаря этому не состоялись ни судилище, ни казнь, ни все остальное. А через месяц после смерти Сталина, 4 апреля 1953 года, в газетах появилось сообщение, что все дело врачей-убийц было провокацией, врачи невиновны, они стали жертвами ложного обвинения и в самое ближайшее время выйдут на свободу. И действительно вышли. Увы, не все — часть скончалась в тюрьме от пыток и побоев.

Я никогда не забуду ликования, охватившего московских

евреев после этого сообщения. В тот апрельский день по дороге на работу (я обычно ходила пешком по бульварам — от площади Пушкина до улицы Кирова, теперь Мясницкой) ко мне то и дело подбегали совершенно незнакомые люди, явно угадывая мою национальность по курчавым волосам и смуглой коже, мы обнимались, целовались, поздравляли друг друга. В редакции тоже царило праздничное настроение — как оказалось, наши нееврейские коллеги очень за нас переживали все это время.

Незадолго до смерти Сталина, в конце 1952 года, арестовали родителей моего мужа. Им инкриминировали не политические преступления, а какие-то финансовые злоупотребления на работе у свекра, Арнольда Ильича Гессена, куда удалось оформить также мою фактически не работавшую свекровь Марию Яковлевну. Дело в том, что Арнольд Ильич получал не оклад, а гонорары за оформительскую работу, а в СССР существовал потолок допустимого месячного заработка. Его гонорары были выше этого потолка, и часть их начисляли на имя Марии Яковлевны. В тюрьму попала тогда целая группа их объединения «Всекохудожник». Обвинение основывалось на ложном доносе, что не помешало суду поначалу приговорить свекра к двадцати пяти, а свекровь — к пятнадцати годам заключения по указу о хищении государственного имущества. Слава богу, поскольку дело было не политическим, а уголовным, приговор можно было обжаловать. И после повторного рассмотрения, на что ушло почти четыре года, обвинение с них было снято и оба вернулись домой. Кстати, их арест отразился самым непосредственным образом и на нас: вскоре после суда, в середине 1953 года, моего мужа уволили с работы, и он долго не мог никуда устроиться, что порядком осложнило наше материальное положение (примерно в это же время у меня родилась дочка, а надо было и продукты в лагеря посылать, и на адвокатов тратиться).

Но тут мне хочется рассказать не об этом, а о небанальной литературной карьере Арнольда Ильича. Он родился в 1878 году в довольно зажиточной семье и задолго до революции окончил два факультета Петербургского университета — естественный и юридический. Это определило его судьбу, ибо до революции для евреев существовала так называемая черта оседлости, охватывавшая больше десяти губерний на западе страны. Но даже в этих губерниях им нельзя было проживать ни в больших городах, ни в деревнях, а только в местечках. Исключение составляли лишь некоторые категории евреев, например купцы 1-й гильдии или лица с высшим образованием. Тут стоит отметить, что эту дискриминационную «черту оседлости» отменили еще до Октябрьской революции, после Февральской, в марте 1917 года.

Арнольд Ильич поселился в Петербурге, увлекся журналистикой, стал корреспондентом газеты «Русское слово» — органа Государственной думы — и проработал там успешно ряд лет, посещая по командировкам разные страны. Был, например, на коронации английского короля Георга V, любил нам показывать свои фотографии верхом на верблюде на фоне пирамиды Хеопса и т. д. После революции он понял, что уцелеет только в том случае, если никто не вспомнит о его работе в консервативной, правой газете. Он поменял квартиру в Петербурге, где его многие знали, на две комнаты в московской коммуналке, перестал писать и перепробовал ряд профессий, связанных в основном с издательской и оформительской деятельностью. Он был с этим знаком, поскольку у его отца когда-то была типография недалеко от Белгорода в городке Короча. Ко времени ареста ему было хорошо за семьдесят, и когда, еще до суда, я спросила у следователя по фамилии Златогорский, какой тюремный срок ему угрожает, тот ответил: «Какая разница, двадцать пять лет или пятнадцать? Все равно он до конца отсидеть не успеет, умрет в лагере». Позднее, спустя годы, мне очень хотелось отыскать Златогорского и напомнить ему о том нашем разговоре, но как-то руки не дошли. Впрочем, я не сомневаюсь, что ему не раз попадались в газетах рецензии на книги Арнольда Ильича и он сам об этом вспоминал.

Итак, вернувшись из лагеря в возрасте семидесяти восьми лет, мой свекор решил, что, поскольку времена изменились, да и он уже свое отсидел, ему можно вернуться к любимому делу и снова начать писать. Он всю жизнь увлекался Пушкиным, прекрасно знал его творчество и теперь, получая пенсию и имея много свободного времени, начал ходить по библиотекам и архивам, ездил в поисках архивных материалов в Ленинград и спустя пару лет, разменяв уже девятый десяток, опубликовал свою первую книгу о Пушкине «Набережная Мойки, 12». По этому адресу находилась последняя квартира поэта, где он жил с женой и детьми и где скончался после трагической дуэли. Содержанием этой книги, равно как и следующих («Все волновало нежный ум», «Москва, я думал о тебе» и др.), были документальные рассказы о жизни Пушкина. Первая же книга сразу стала бестселлером, критики посвящали ей восторженные рецензии.

Арнольд Ильич прожил после лагеря еще двадцать лет (умер в 1976 году), писал до самого конца и опубликовал, если не ошибаюсь, полдюжины книг о Пушкине и одну очень популярную книгу о декабристах «Во глубине сибирских руд». Еще при его жизни эти книги были включены в программу школьного чтения для старшеклассников. В конце 1950-х годов я развелась с

Борисом (он был порядочным и культурным человеком, но с тяжелым, деспотическим характером, с которым мне было все труднее мириться), но с его родителями поддерживала теплые отношения до самой их кончины.

24 апреля 1953 года у нас родилась дочь Елена. Несмотря на постоянные переживания из-за ареста свекра и свекрови (кстати, в середине мая следователь Златогорский позвонил нам по просьбе пребывающей в тюрьме Марии Яковлевны с вопросом, благополучно ли я родила и кого; из этого можно заключить, что признаки человечности у представителей той профессии все-таки наличествовали), я была несказанно счастлива. Именно о девочке я мечтала. Была почему-то убеждена, что подлинным другом и наперсницей может быть только дочь. Жизнь показала, что я была права. У меня два прекрасных, преданных и любящих сына, но дружу по-настоящему я только с Леной. К тому же мою радость усиливало сознание, что я ее чуть не потеряла еще до родов.

Это случилось накануне похорон Сталина, не то 7, не то 8 марта, точно не помню. Я, как обычно, возвращалась с работы по бульварам, была уже на восьмом месяце беременности, мне оставалось всего несколько недель до декретного отпуска. Петровский бульвар, по которому я шла, пересекает улица Пушкина (теперь Большая Дмитровка), где в тот день в Колонном зале Дома Союзов поставили гроб с телом вождя, чтобы скорбящие граждане могли с ним проститься. Граждан же охватило сущее безумие. На бульваре и улице толпилась буквально вся Москва и еще тысячи и тысячи людей, специально приехавших из ближних и дальних городов и селений. Все было организовано из рук вон плохо. В толчее затоптали тогда насмерть десятки или, быть может, даже сотни людей. О раненых и покалеченных я уже не говорю. Точное количество жертв этого массового психоза неизвестно, я думаю, и по сей день, ведь подобные факты тщательно скрывались. И вот я, не сообразив, что мне лучше повернуть и сменить маршрут, попала в этот водоворот и была уже не в состоянии выбраться оттуда. Меня толкали со всех сторон, давили на меня, я несколько раз падала, кричала во весь голос, обезумев от страха, так же как и все кругом. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы на меня не обратил внимания какой-то военный, решивший, очевидно ввиду моей беременности, спасти именно меня. Он схватил меня за руку и, размахивая оружием, кажется автоматом, потащил сквозь толпу в какой-то двор. В старых районах Москвы многие дворы соединены друг с другом. Мой спаситель вывел меня по этим переходам на более спокойную улицу и велел немедленно отправляться домой. Я не успела даже его поблагодарить, так как

он повернулся и побежал назад, наверное, чтобы еще кого-нибудь спасти. Когда я наконец добралась до дома, мама билась в истерике, соседи тщетно пытались ее успокоить, а Борис бегал по улицам и искал меня. К счастью, он время от времени звонил из автомата, спрашивая, не вернулась ли я, и вскоре после моего прихода позвонил в очередной раз. Ну и, когда Лена родилась, я еще долгие месяцы не переставая думала о том, что, не случись чуда, она могла не появиться на свет совсем.

Как известно, после смерти Сталина и последовавшего вскоре, в том же 1953 году, расстрела Берии в основном кончился многолетний кошмар советского террора. Правда, назвал вещи своими именами только Никита Хрущев в своей знаменитой речи на XX съезде КПСС, да и потом еще лет тридцать нельзя было даже мечтать о свободе и демократии, но террор прекратился. Люди больше не цепенели от ужаса, слыша ночью, что около их дома остановился автомобиль. И страх, парализовавший людей и являвшийся, по-моему, основным чувством всех, кто умел думать, постепенно проходил. Все больше видно было на улицах улыбчивых лиц.

Люди перестали бояться общаться друг с другом, потому что за сказанное в разговоре с глазу на глаз не грозил больше приговор и лагерный срок. Правда, при Хрущеве время от времени появлялись новые причины для арестов. Например, во второй половине 1950-х, не помню точно, в каком году, он издал указ, по которому в случае кражи государственного имущества привлекался к уголовной ответственности не только тот, кто воровал, но и тот, кто, зная об этом, не доложил. В этой связи по Москве ходил еврейский анекдот. Еврей из Одессы шлет Хрущеву телеграмму: «Товарищ генеральный секретарь! Чтоб вы знали — вся Одесса ворует. Я вам сообщил и ответственность с себя снимаю. Рабинович». Вообще после долгих лет страха и молчания анекдоты полились рекою. Армянские, еврейские, всякие. Например, тот же Хрущев в одном из своих выступлений заявил, что через двадцать лет коммунизм будет построен и следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И сразу родился анекдот. Слушатель армянского радио обращается на радиостанцию с вопросом: «Неужели мы в самом деле доживем до коммунизма?» И ему отвечают: «Мы-то не доживем, но детей жалко».

Увы, несмотря на все перемены, положение евреев оставляло желать лучшего. Да, прекратилась травля в печати, и вообще долгое время не было никаких официальных высказываний на эту тему. Но на работу евреев по-прежнему почти не брали, в престижные учебные заведения не принимали, и, так же как

раньше, нельзя было против этого протестовать. Где-то на рубеже 1950-х и 1960-х годов к Хрущеву по этому вопросу обратился известный английский философ и общественный деятель Бертран Рассел. Что написал Рассел, мы так и не узнали, но ответ Хрущева опубликовали почти все газеты. И если до этого можно было еще сомневаться, антисемит наш генсек или нет, то теперь эти сомнения рассеялись полностью. Хрущев заявил, что никакого антисемитизма в Стране Советов нету, евреи — абсолютно полноправные граждане, несмотря на то что их можно во многом упрекнуть. Например, во время Сталинградской битвы переводчиком при командующем немецкими войсками, фельдмаршале Паулюсе, состоял киевский еврей по фамилии Коган. Что это был чистейший вымысел, я полагаю, объяснять не надо. Ни один немецкий военачальник не стал бы в ту пору пользоваться услугами еврея вообще, а советского еврея, к тому же с такой фамилией, — в особенности. Но этот сюжет распространила не только пресса. Нашлись писатели, которые использовали его в своих произведениях о войне.

Помню, моя знакомая, писательница Ариадна Громова, кстати, чистокровная русская, но ярая противница антисемитизма, пригласила меня как-то в конце 1966 года в суд. Некий Коган судился с писателем (фамилию его я не помню, так как ни одной его книги в жизни не читала, кажется, Стаднюк, но я не уверена, а Ариадны Громовой уже нет в живых, и спросить мне не у кого), который сделал гнусную выдумку Хрущева одной из тем своего романа. Когана, жившего в то время на Урале, после появления романа в тамошних книжных магазинах выгнали с работы, равно как и его жену, двух их дочерей исключили из школы и из комсомола — а все потому, что он написал в автобиографии, что до войны жил в Киеве, воевал под Сталинградом, был там ранен и попал в плен (за что отбыл потом срок в советском лагере). Коган привел в суд свидетелей, которые были вместе с ним на фронте и в плену, и те показали, что ему удалось выжить только потому, что кто-то передал ему военное удостоверение погибшего армянина, и он находился в плену под чужой, армянской фамилией (еврейским мальчикам в СССР, как правило, не делали обрезания, и по этому признаку его нельзя было разоблачить). И что ни о каких Коганах в окружении Паулюса никто и слыхом не слыхал никогда. Писатель в суде упорствовал, утверждая, что он данного конкретного Когана в виду не имел, что у него не документальное произведение, а роман, где автор имеет право на художественный вымысел, и нагло добавлял, что, как видно, на воре шапка горит. Суд вынес уклончивое решение — мол, к истцу сюжет книги не имеет

отношения — и даже слегка попенял писателю. Но сколько других Коганов, которым Громова не помогла возбудить уголовное дело, пострадало из-за этого вымысла?

Но в нашей редакции мы антисемитизма фактически не чувствовали. Тем более что в середине 1950-х годов умер наш основной антисемит — главный редактор Николаев, и на его место вскоре назначили писателя Василия Ажаева, автора известного тогда романа «Далеко от Москвы», человека в высшей степени порядочного, с которым работать было легко и приятно.

Все теснее становились контакты нашего польского издания с переводчиками в Польше. Мы в Москве переводили теперь почти исключительно публицистику и литературную критику, а художественные произведения, составлявшие примерно процентов семьдесят журнального текста, посылали квалифицированным переводчикам в Варшаву. Первыми начали с нами сотрудничать Вера и Збигнев Беньковские, Хенрика Бронятовская, Александр Минковский. Потом к ним присоединилось более молодое поколение — Магда Володько, Данута Вавилова и многие другие. Все они время от времени приезжали в Москву за гонорарами, которые выплачивались исключительно в рублях. У нас тоже появились перспективы поездок в Польшу, поскольку Арцимович без устали толковал руководству, что редакторский состав нашего издания должен обязательно совершенствовать там свой польский язык. Такие командировки начались, к сожалению, только во второй половине 1960-х годов и вскоре прекратились, так как в 1968 году внезапно скончался Ажаев, а сменивший его Савва Дангулов, писатель и бывший дипломат, начал отправлять в заграничные командировки вместо сотрудников редакции своих друзей по Союзу писателей (я забыла отметить, что наш журнал был органом Союза писателей СССР, который оплачивал подобные мероприятия). Лично мне удалось воспользоваться такой командировкой только один раз, в 1967 году, когда я поехала на месячную практику в крупнейшее варшавское издательство «ПИВ». Меня там встретили очень хорошо, привлекли к работе, а кроме того, организовали замечательную экскурсию на Балтийское побережье — в Гданьск, Гдыню и Сопот (дело было летом). Я бывала потом в Польше многократно, ведь у меня там жили родственники — тетя Анеля Макаревич, двоюродная сестра Анна, ее муж и два сына. Но самые яркие воспоминания у меня остались от двух первых поездок — быть может, именно потому, что они были первыми, — от этой командировки и от турпоездки в 1963 году, о которой я уже упоминала.

Тогда я была в Польше с группой Союза писателей. Мы

провели больше недели в Варшаве, потом поехали в Краков. Всех нас потрясло посещение музеев в Освенциме и Бжезинке. Но об этом уже столько написано, что не стану повторяться. Зато хочу рассказать о еще одном глубоком переживании, испытанном мною в моем родном Белостоке. Дело было так: муж моей ифлийской подруги Эды Владислав Михальский (кстати сказать, дипломат, многолетний сотрудник польского МИДа, которого в 1968 году отозвали на два года раньше срока с должности генерального консула ПНР в Стамбуле из-за еврейской жены — в тот год генеральный секретарь компартии Польши Владислав Гомулка объявил войну спасшимся от гитлеровского геноцида польским евреям, — и на этом дипломатическая карьера Владека закончилась) сказал мне: «Поговори с руководителем вашей группы, если он разрешит тебе отлучиться на один день, я повезу тебя на машине в Белосток». Руководитель немного поколебался, но, так как вся группа за меня заступилась, разрешил. Владек приехал за мной рано утром, и часа через три мы очутились в Белостоке. Даже не пытаясь сдерживать слезы, я ходила по улицам, которых не видела двадцать два года, и практически все узнавала и вспоминала, пока мы не добрались до территории бывшего гетто. Там, как мне объяснили прохожие, при немцах все было разрушено, а после войны отстроено заново. Причем изменились не только названия улиц, но и их расположение. Кроме мемориальной доски на одной из стен, гласившей, что на этом месте когда-то стоял дом, в котором проживал создатель языка эсперанто Людвик Заменгоф, ничто здесь не напоминало прежней, так хорошо мне знакомой жизни. Сердце у меня буквально разрывалось от горя и боли, и Владек, чтобы увести меня оттуда, предложил пойти посмотреть, не сохранился ли, часом, дом, в котором я жила до войны. В середине 1930-х годов мы сменили квартиру, переехали в дом 3 / 3 по Золотой улице. Это был двухквартирный особнячок, в котором мои родители занимали первый этаж, а на втором жили хозяева, Хазаны, владельцы многоэтажного доходного дома в этом же дворе. По дороге туда, отвлекшись, я рассказала Владеку, как во время моей единственной поездки из Москвы в Белосток на каникулы зимой 1941 года один из моих ифлийских поклонников, Виктор Пилипенко, прислал мне письмо со следующим адресом:

Город Белосток,
Дальний Запад, не Восток,
Улица Золотая,
Проба семьдесят шестая,
Номер дома — три дробь три —

На углу его смотри,
А квартира номер первый,
Шлет посланье благоверный
Своей Гольдберг Эстер Я.
Отправитель — просто я.

Почтальонша, принесшая это письмо, рассказала, что, читая адрес, веселилась вся почта, а некоторые даже переписали его на память. И, вспомнив своих друзей по общежитию на Стромынке, я привела Владеку еще один пример их стихотворных шуток. Дело было в том, что мой друг Исай, с которым мы обменивались письмами чуть ли не каждый день, не отправлял свои послания в конвертах, а просто складывал листки треугольником и сверху писал адрес — он видел такие письма, присылаемые из СССР (потом, в войну, других писем не было, поскольку не было конвертов), и решил, что такова советская мода. Девушки в нашей комнате, увидев на моей тумбочке стопку таких треугольников, списали оттуда адрес Исая и отправили ему нормальный конверт со следующим стишком (сочинила его, как я потом узнала, Кира Зайцева):

Конверт ваш своей элегантностью
В нас вызвал эстетический испуг;
Мы польщены вашей галантностью,
Наш незнакомый заграничный друг.
В Москве весьма отстали моды,
Нам до Европы далеко,
Здесь нет таких чудес природы —
Конвертов стиля рококо.
Хотим идти с Европой в ногу,
Вас умоляем: помогите!
Для важных писем хоть немного
Конвертов модных нам пришлите.
А чтоб вы поняли, как больно
Для наших девичьих сердец,
Конверта грубого невольно
Вам шлем московский образец.

Исай был ужасно смущен и в дальнейшем, вплоть до войны, когда наша переписка оборвалась, увы, навсегда, слал мне письма в нормальных конвертах…

Беседуя обо всем этом, мы дошагали до Золотой улицы, зашли во двор, и я, к величайшей своей радости, обнаружила, что

наш особнячок стоит. И даже не слишком изменился. Мы взошли на крыльцо, позвонили, дверь открыла какая-то женщина, и я, дрожа от волнения, начала ей объяснять, что жила тут до войны. На это женщина, даже не дослушав, с криком и руганью захлопнула дверь перед самым моим носом. Я остолбенела, не понимая, в чем дело, но Владек мне объяснил, что, согласно принятому недавно закону, бывшие владельцы могут требовать возвращения своей довоенной собственности, и хозяйка, видимо, меня испугалась. Ну и пока я ревела, стоя на крыльце, он снова позвонил в дверь и объяснил той женщине, что я никакая не бывшая домовладелица, а просто жиличка, мне ничего здесь не нужно, через несколько дней я возвращаюсь в СССР, где постоянно проживаю, а сейчас хотела просто посмотреть квартиру, узнать, не сохранилось ли, часом, хоть что-нибудь из наших вещей. Успокоенная женщина пригласила меня войти. Оказалось, что теперь там жили две семьи. В столовой и спальне стояла наша мебель, которую я с умилением узнала. Я спросила, не уцелели ли случайно какие-нибудь наши бумаги или фотографии, на что хозяйка ответила, что действительно, бумаг, альбомов со снимками и книг на каком-то непонятном языке (должно быть, на идише и иврите) было довольно много, но лет десять назад они сделали ремонт и все повыбрасывали. Такова была моя встреча с прошлым.

В середине 1970-х годов, будучи в очередной раз в Польше, я снова съездила в Белосток и, разумеется, заглянула на Золотую улицу. Заходить в дом я больше не собиралась, хотела просто поглядеть на него снаружи. Была ранняя осень, тепло, какая-то женщина развешивала белье на веревке. Вдруг она подняла голову, увидела меня, внимательно пригляделась, затем оставила белье, подошла и спросила, не бывшая ли я жиличка, которая когда-то приезжала сюда из Советского Союза. Я подтвердила. На это женщина: «Знаете, наверное, Господь покарал нас за то, что мы вас тогда так плохо встретили. Через пару лет после вас приехала из Соединенных Штатов внучка Хазанов, довоенных домовладельцев, подала в суд, и нам пришлось заплатить ей уйму денег компенсации». Я ее заверила, что это не кара Божья, а простое совпадение, поскольку я на нее совершенно зла не держу. Но потом, возвращаясь, подумала, что, быть может, Господь Бог, в которого я никогда не верила, все же существует…

Я снова увлеклась, забежала вперед, в 1960-е и 1970-е, и хочу вернуться в 1950-е. 2 сентября 1959 года умерла моя мама. За год до этого, летом, через несколько месяцев после моего развода (который, кстати, совершенно ее не огорчил — напротив, она считала, что я давно должна была на это решиться), у нее

случилось кровоизлияние в мозг. Вскоре к ней вернулась речь, но она так и осталась наполовину парализованной. Зимой у нее был еще один инсульт, а в конце августа — третий и последний. У нее уже несколько лет было повышенное кровяное давление, но никто не предполагал, что это кончится так трагически. Мама почти всю жизнь страдала от порока сердца, а на повышенное давление никто из нас как-то не обращал внимания. Тем более что вопреки физическим недомоганиям она все время активно работала. В 1956 году вышел составленный ею (в соавторстве с Яниной Кротовской) учебник польского языка для вузов, и полученный за это гонорар позволил нам, как я уже писала, обменять нашу комнату на нормальную квартиру. Мама радовалась этому чрезвычайно, так как, пожалуй, больше всех нас страдала от жилищной тесноты. Она систематически переводила для нашего журнала, и у нее было множество творческих планов. В частности, незадолго до первого инсульта она заключила с Издательством иностранных словарей договор о составлении русско-польского словаря, уже начала над ним работать, и весь письменный стол, а также пара подоконников в нашей квартире были заставлены коробками с заготовками для этого словаря, И внезапно такое несчастье! Ведь она всегда была для меня не только матерью, но и ближайшей подругой. Как, впрочем, потом я для Лены.

Тот последний год был для меня очень тяжелым. После второго инсульта мама практически не вставала с постели и нуждалась в постоянном уходе. Саша помогал мне как умел, но ему шел только пятнадцатый год, а Лена была совсем маленькая. Очень мне помогала также наша домработница Клава, тогда уже студентка вечернего отделения института. Я в ту пору не переставала горевать по поводу того, что была единственной дочерью у родителей и у меня не было сестры или брата, которые делили бы со мной ответственность и заботы, и думала о том, как хорошо, что никто из моих детей не будет так одинок в подобных обстоятельствах. Это лишний раз доказывает, что, увы, ничего в жизни нельзя предугадать заранее. У меня в итоге даже не двое, а трое детей, но Саша и Лена живут за океаном, в США, и я, по сути дела, осталась опять-таки с единственным ребенком, моим младшим сыном Леонидом. Но это уже особая тема, к которой я вернусь потом.

Вскоре после маминой смерти я познакомилась со своим вторым мужем, Сергеем Николаевичем Виноградовым, и в конце 1960 года мы поженились. У него тоже было двое детей от первого брака, примерно того же возраста, что Саша (один, Валерий, был на год старше, а второй, Александр, — на год младше), которые жили с матерью. Ребята очень подружились и

тесно общались до тех пор, пока мои отпрыски не эмигрировали. (Впрочем, Валерий внезапно умер в 1990 году.) Сергей, в отличие от Бориса Гессена, был русским. Более того, он происходил из семьи православных священников, его отец был протоиереем. А иметь такого отца было в первые десятилетия после революции не лучше, чем потом быть евреем. Их семью зачислили в разряд так называемых лишенцев, то есть людей, лишенных гражданских прав.

«Лишенцами» были представители классово чуждых сословий, то есть дворянства, духовенства, буржуазии и т. п. Жили они в нищете и постоянном страхе, как оказалось, не лишенном оснований; в годы сталинского террора отец Сергея был арестован, приговорен к заключению и, по рассказу одного из его товарищей по несчастью, скончался на этапе по пути в лагерь. Сергей (он родился в 1911 году) окончил школу, одну из немногих в Москве, куда принимали детей «лишенцев», но о высшем образовании не мог и мечтать, хотя был очень способным. Он стал рабочим на строительстве дорог, потом перешел на строительство Московского метрополитена. И уже не надеялся что-либо изменить в своей судьбе, как вдруг, если не ошибаюсь, в 1936 году, случилось чудо. В одном из колхозов отличался своими трудовыми успехами комбайнер по фамилии Борин. Он перекрывал все прежние рекорды производительности труда, перевыполнял план на сотни процентов, о нем писали газеты, и Сталин распорядился наградить его орденом. Тогда кто-то из окружения вождя сказал ему, что да, Борин прекрасно работает, но отец у него был кулаком. На это Сталин, пребывавший, очевидно, в тот момент в хорошем расположении духа, заявил: «Ну и что? Сын за отца не отвечает». А поскольку каждое высказывание Сталина имело силу директивы, подлежащей безоговорочному исполнению, судьба Сергея изменилась мгновенно: он больше не отвечал за своего отца-протоиерея, больше не был «лишенцем».

Здесь необходимо отметить, что это сталинское великодушие распространилось, увы, только на «лишенцев». Начиная с 1937 года, с наступлением полосы массовых арестов, длившихся то с большей, то с меньшей интенсивностью вплоть до кончины вождя в 1953 году, существовала даже особая категория «чесеиров», то есть «членов семьи изменника родины», которых после расправы с основным «преступником» тоже приговаривали к заключению или к ссылке. Но Сергея это не коснулось. Он сразу же начал усердно готовиться к вступительным экзаменам в вуз и ближайшим летом поступил в Московский автодорожный институт (МАДИ). И был уже на последнем курсе, когда целую группу студентов-

дипломников их института сняли с учебы и направили на работу на различные объекты, где срочно требовались инженеры-строители. Это произошло месяца за два до начала войны, и свою дипломную работу Сергей защитил уже после Победы. А тогда его послали в Белоруссию, на самую границу с Германией, и назначили руководить строительством взлетной полосы на новом военном аэродроме.

Там его и настигла война. Сергей пытался бежать на восток, но немцы двигались быстрее, и в конце концов он застрял в оккупированном уже белорусском городе Борисове. Работал где придется, познакомился там со своей первой женой и женился. В Белоруссии довольно скоро зародилось движение сопротивления против фашистских оккупантов, и Сергей установил контакт с одним из партизанских отрядов. Примерно год он оставался в Борисове, выполняя поручения партизан на месте, но потом стало ясно, что вокруг него сгущаются тучи, и его забрали в отряд. Более того, из города вывезли также его жену с новорожденным сыном Валерием и поселили в деревне на территории, контролируемой партизанами. В отряде Сергей сражался вплоть до освобождения Белоруссии Красной армией. Тогда их отряд влился в одну из пехотных дивизий, но Сергея как специалиста по дорожному строительству не отправили на фронт, а прикомандировали к части, занимавшейся восстановлением разрушенных мостов и дорог. В этом качестве — строителя мостов — он и проработал всю жизнь, сначала в армии, потом на гражданке. Был специалистом высокого класса и руководил строительством подвесных мостов в разных регионах страны — в Литве, на Урале, на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Афганистане и прочих местах.

Сергей с самого начала нашей совместной жизни мечтал о том, чтобы я ему родила ребенка. Я же противилась этой перспективе как могла, считая, что двоих моих детей и двоих его нам вполне хватит. И все же где-то через год я забеременела. Это произошло, в сущности, случайно, но ввиду позиции Сергея я на аборт не решилась. Ждала ребенка безо всякого энтузиазма. В положенное время, в ноябре 1962 года, у меня начались схватки, и Сергей отвез меня в родильный дом. Он тогда строил очередной мост, на этот раз через Амударью, и специально прилетел в отпуск. И тут началось. Я не могла разродиться в течение без малого двух суток. Ребенок был очень крупный, весил, как потом оказалось, пять с лишним килограммов, и ему никак не удавалось покинуть мою утробу. Когда я уже была без сознания от боли и почти при смерти, врачи среди ночи решились сделать мне кесарево сечение. Но было, увы, слишком поздно. Мой сынишка

после операции вздохнул несколько раз и перестал дышать. Никакие меры, предпринятые медицинским персоналом, не помогли. Врачи твердили потом в свое оправдание, что их дезориентировало наличие у меня двоих детей, появившихся на свет без хирургического вмешательства. Я была в глубоком отчаянии. Теперь мы с Сергеем поменялись ролями. Он в ужасе от того, что мог стать невольным виновником моей смерти (врачи, чтобы реабилитироваться в его глазах, порядком его напугали), просил у меня прощения за то, что настаивал на этих родах, и заверял, что никакой ребенок нам не нужен. Я же, наоборот, чувствовала, что если у меня не родится ребенок, то я сойду с ума. И никакие доводы рассудка, как, например, то, что мне вот-вот исполнится сорок лет, на меня не действовали.

Я поехала с экскурсией в Польшу и, как уже писала, вернулась полная впечатлений. Потом Сергей повез меня на свою стройку в Узбекистан, и мы совершили там прекрасное путешествие по древним среднеазиатским городам, таким как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива. Я была ему очень благодарна, но при этом непрерывно мечтала о ребенке. И в середине октября 1963 года обнаружила, что снова беременна. Поскольку после той операции прошло относительно немного времени, кесарево сечение было на этот раз запланировано заранее. По совету мудрой врачихи из районной женской консультации я обратилась в тот же родильный дом, предупреждая, что снова жду ребенка и на этот раз опять-таки приду к ним. Врач из консультации сказала: «Они там чувствуют себя виноватыми и будут лезть из кожи вон, чтобы подобное не повторилось». И в самом деле, она оказалась права. В родильном доме меня взяли под наблюдение, систематически обследовали, срок операции назначили загодя, и 7 июля 1964 года появился на свет мой второй сын, Леонид, Леня, моложе своего старшего брата Саши без малого на двадцать лет.

Кесарево сечение прошло благополучно, я была несказанно счастлива, но так исстрадалась физически, что хочу об этом рассказать. Дело в том, что в то время, а ведь на дворе было не средневековье, а вторая половина XX века, эти операции производились в СССР без общего наркоза, а только с местной анестезией. Собственно говоря, я должна была об этом помнить, ведь это было для меня не впервой, но в тот раз, в 1962 году, после сорока с лишним часов непрерывных болей мой организм уже, очевидно, не реагировал на новую боль. В этот же раз я легла на операционный стол здоровая как огурчик. И несколько удивилась, увидев рядом с хирургом и его ассистентом терапевта с какой-то аппаратурой. Уже потом я поняла, что в его

обязанности входило меня спасать, если бы я начала умирать от боли прямо на столе.

Итак, вместо наркоза мне сделали десяток уколов новокаина в живот, выждали минут пятнадцать, и хирург принялся вскрывать брюшную полость. Пока он резал живот, было очень больно, но все же терпимо. А вот до матки новокаин не дошел вообще, резали по живому, я выла от боли, как зверь, несколько раз теряла сознание, тогда хирург прерывался, и мною занимался терапевт (он сам мне потом рассказывал). Когда достали ребенка, слава богу, живого и здорового, и начали меня зашивать, действие новокаина на живот уже тоже кончилось, и я прошла через все это, в сущности, без всякого обезболивания. На этом последнем этапе, уже зная, что у меня родился сын, и бесконечно счастливая, я пыталась воздержаться от крика, но не смогла и в конце концов потеряла сознание надолго. Очнулась уже не на операционном столе, а в палате, рядом сидел терапевт, не отходивший от меня ни на шаг.

Как раз за несколько недель до своей операции я прочитала в газете, что первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова произвела на свет дочку. Об этой дочери Терешковой тогда много говорили в Москве. Рассказывали, что Хрущев чуть ли не насильно, несмотря на ее возражения, заставил ее выйти замуж за космонавта Николаева (этот брак действительно очень скоро распался), так как ему надо было знать, якобы в интересах науки, какой ребенок родится от пары, побывавшей в космосе. И было известно, что во избежание какого-либо риска для ребенка Терешковой сделали кесарево сечение. Придя в себя, я вспомнила все это и спросила терапевта, возможно ли, чтобы наша первая космонавтка пережила такие же муки, как я. Тот расхохотался и сказал: «Полноте! Для таких, как она, существуют совсем другие обезболивающие средства. Уже давно, впрочем, широко применяемые во всех цивилизованных странах». Да, во всех, кроме первой страны победившего социализма, где, согласно повторяемым без конца лозунгам, все делалось во имя человека и для его блага. Только значительно позднее, не помню точно, в каком году, но, во всяком случае, когда мой Леня уже ходил в школу, в одной из московских газет выступил со статьей главный гинеколог Советского Союза. Он писал, что в нашей стране гинекологические операции проводятся на допотопном уровне и с этим пора кончать, так как это позор и срам. Очевидно, это выступление подействовало на власти, и где-то в середине 1970-х в нашей хирургии закончилось такое резание живого тела. Ну а я с той поры стала почти совсем нечувствительна к боли. И в случаях, когда люди обычно охают и стонут, остаюсь совершенно

спокойной. После пережитой тогда муки, которую я не могла потом забыть долгие годы, обычная боль кажется мне сущим пустяком.

Для примера приведу относительно недавний случай: в январе 1994 года (как раз меня приехала навестить из Америки моя дочь Лена со своим девятнадцатилетним сыном Алешей) я вышла за покупками, прямо около дома поскользнулась и упала. Поднявшись, прошлась, как и намечала, по магазинам, потом дома постирала немного белья и только тогда заметила, что рука у меня сильно распухла и вроде болит. Как раз пришли с прогулки мои американские гости, и Алеша уговорил меня съездить с ним на всякий случай в травмпункт, проверить, в чем дело. Мы поехали, мне сделали рентгеновский снимок, и оказалось, что у меня сломана локтевая кость. После этого я месяц проходила с рукой в гипсе.

А теперь вернусь к моей профессиональной деятельности, в которой большую роль сыграла умершая, к сожалению, уже более четверти века назад, не дожив даже до шестидесяти лет, признанная переводчица польской литературы Юлия Борисовна Мирская. В 1950-е годы она начала работать в отделе критики в центральной редакции нашего журнала, готовившей материалы для всех языковых изданий. Мы с ней часто общались по работе, и она стала уговаривать меня не ограничиваться переводами русской публицистики на польский язык, а попробовать себя в переводах произведений польских писателей на русский. Я и сама давно подумывала об этом, но так как в переводчиках на русский язык в Москве не было недостатка, а у меня отсутствовали какие-либо связи в издательствах, то дело казалось безнадежным. Но вот Юлия Борисовна предложила мне перевести вместе с ней и еще одним незнакомым мне переводчиком книгу «Бронзовые врата» крупного польского писателя Тадеуша Брезы. Затем она договорилась с журналом «Иностранная литература», что мы с ней переведем повесть Софьи Посмыш «Пассажирка» (потом, правда, оказалось, что у Юлии Борисовны нет времени, и моим соперевoдчиком стал вместо нее другой ее подопечный, Валерий Головской, позже уехавший в США). Ну и, как теперь принято говорить, процесс пошел. Немного позднее (в середине 1960-х) я перевела — уже сама, но по совету Юлии Борисовны — несколько рассказов Тадеуша Ружевича для издательства «Художественная литература» (тогда оно еще, кажется, называлось Гослитиздатом), а затем, на этот раз по моей инициативе, мы вместе перевели «Библейские сказания» Зенона Косидовского, вышедшие в Издательстве политической литературы. Эта книга произвела в СССР подлинный фурор. Ведь Библия была в стране практически

запрещена, нигде не продавалась, и ее нельзя было приобрести ни за какие деньги. А Косидовский, хотя и с атеистическим комментарием, изложил в своих «Сказаниях» все основные библейские сюжеты. Книга регулярно переиздавалась, ну а за мной закрепилась прочная репутация хорошей переводчицы.

Позднее, увы, без Юлии Борисовны, которой уже не было в живых, я перевела «Сказания евангелистов» этого же автора. Русское книжное издание вышло в свет даже раньше польского, благодаря тому что Косидовский по моей просьбе присылал мне номера еженедельника, печатавшего «Евангелистов» в отрывках с продолжениями. Впрочем, автор был потом недоволен русским изданием, а я чувствовала себя виноватой и очень переживала. Дело в том, что по поручению издательства я в ходе работы над переводом попросила у Косидовского разрешения кое-что в тексте сокращать по своему усмотрению. Он согласился, и я сделала небольшие купюры. Могла ли я ожидать, что в редакции атеистической литературы Госполитиздата, пользуясь этим устным разрешением, повычеркивают, не согласуя со мной, еще целые главы! Как мне потом объяснила редактор книги Татьяна Иванова, это было сделано исключительно по соображениям экономии: как раз не хватало денег и бумаги (что для такого издательства представлялось в ту пору совершенно невероятным), и в издательском плане для «Евангелистов» было предусмотрено не более тринадцати авторских листов. Ну а поскольку автор написал куда больше, вычеркнули все, что было возможно. Я была ужасно расстроена. Прежде всего, нетрудно было угадать, какова будет реакция Косидовского, ну и потом, за некоторые главы мне было просто обидно. Правда, кое-что, например заключительный раздел, посвященный найденным в пустыне так называемым Кумранским рукописям (древнейшим текстам Библии), мне удалось несколько лет спустя опубликовать в журнале «Наука и религия». И, к счастью, Косидовский поверил, что все произошло не по моей вине, и продолжал относиться ко мне с неизменной доброжелательностью. Мы переписывались до самой его кончины, а бывая в Варшаве, я всегда его навещала. Однажды мы были у него с Сергеем и Леней, после чего я получила от него письмо о том, как ему понравились мои муж и сын.

После смерти Юлии Борисовны я перевела несколько книг («В рай и обратно» Яна Юзефа Щепаньского, «Бегство от запаха свечей» Кристины Паенк и еще какой-то детектив) на пару с ее любимой племянницей, тогда начинающей, а теперь, пожалуй, самой известной в Москве переводчицей польской литературы Ксенией Старосельской. И в дальнейшем долгое время, вплоть до начала 1990-х годов, параллельно с работой в редакции

занималась переводами. Перевела, как я уже упоминала, несколько романов Игоря Неверли, «Калину» Богуслана Когута, «Балладу о Янушеке» Славомира Лубинского, очерки о советских республиках «Киргиз слезает с коня» Ришарда Капустинского и другие произведения. Последними публикациями в моем переводе были автобиографическая повесть Неверли «В минуты роковые» и повесть Ежи Анджеевского «Апелляция» в двухтомнике этого писателя, вышедшем в издательстве «Художественная литература» в 1992 году.

Тогда же я перевела для советско-польского издательства «Орбита» роман Ярослава Абрамова-Неверли (сына Игоря Неверли) «Союзники», но как раз незадолго до того, как я сдала рукопись в редакцию, распался Советский Союз, издательства стали менять направление, отдавая предпочтение низкопробным детективам (сейчас эта тенденция, к счастью, вроде бы проходит), некоторые издательские фирмы закрылись совсем, а «Орбита», передумав издавать «Союзников», выплатила мне смехотворный гонорар по расценкам, существовавшим на момент заключения со мной договора, то есть до введения свободных цен. Мне жаль, что книга не вышла, она мне очень нравилась, но ничего не поделаешь.

За годы переводческой работы у меня было еще несколько неизданных книг, из которых я больше всего сожалела о книге Яцека Бохеньского «Поэт Назон» о римском поэте Овидии. Она должна была выйти в издательстве «Прогресс», я работала над переводом с огромным удовольствием, автор прочитал его в рукописи и одобрил. Однако вскоре Бохеньский вызвал гнев наших властей каким-то своим критическим по отношению к СССР выступлением в польской прессе, и книгу тут же вычеркнули из издательского плана. Мне было особенно обидно, потому что, если бы писатель высказался на щекотливые темы несколькими месяцами позже, «Поэт Назон» успел бы выйти в свет. И еще раз я расстроилась в связи с этой книгой пару лет назад: времена коренным образом изменились, и мне вдруг позвонили из издательства, которое к тому времени отпочковалось от «Прогресса» и стало зваться «Радугой», и сказали, что они хотят издать «Назона», но не смогли найти в архиве рукопись перевода и просят, если она у меня сохранилась, передать им экземпляр. Увы, поскольку с той поры утекло много времени, я свой перевод тоже не нашла, хотя перерыла в поисках его всю квартиру. И до сих пор не знаю, вышла ли книга или нет, во всяком случае, перевести ее заново мне никто не предложил.

В том же 1962 году, когда я потеряла в родах своего ребенка, мой сын Саша закончил школу и поступил учиться в Московский

энергетический институт (МЭИ). О перипетиях его поступления в вуз стоит рассказать, так как они характерны для того периода. Саша был если не самым способным, то уж во всяком случае самым прилежным из моих троих детей. В школе учился прекрасно, отличался успехами, особенно по таким предметам, как физика и математика, и задолго до получения аттестата зрелости решил, что будет пытаться поступить на физический факультет МГУ. Все знакомые советовали мне отговорить его от этой затеи. Тогда, правда, было уже не сталинское время, но для евреев по-прежнему многие учебные заведения или отдельные факультеты оставались закрытыми, хотя теперь это зависело в основном от местного руководства. Ну а о декане физфака было известно, что он евреев не любит и не принимает. Но Саша упорно стоял на своем, а я не хотела на него давить.

Сдавать надо было два письменных экзамена — математику и сочинение — и три устных — математику, физику и химию. Все знали, что главный отсев происходит на письменном, очень сложном экзамене по математике, после которого практически не остается конкурса. Так же и в том году, вначале было по восемь кандидатов на место, а после письменной математики осталось 1,1. Согласно заведенному порядку, письменную работу абитуриенты не подписывали своей фамилией, а ставили порядковый номер. И через несколько дней приемная комиссия вывешивала список допущенных к дальнейшим экзаменам. Саша решил все задачи, вернулся домой гордый и довольный, смеялся над моими опасениями. Действительно, в назначенный день он обнаружил свою фамилию в списке выдержавших первое испытание абитуриентов и двумя днями позже, уверенный в себе, отправился на устный экзамен по той же математике. Вернулся он через несколько часов, бледный как полотно. Я выбежала ему навстречу в переднюю, но он прошел мимо, бросив только: «Я провалился», и заперся в ванной. Взволнованная и испуганная, я долго стояла у двери, умоляя его открыть, наконец он вышел, вытирая слезы. Оказалось, что он правильно ответил на все вопросы билета, но экзаменатор его никак не отпускал, задавал все новые вопросы, а затем предложил решить очень сложную задачу. Саша сказал, что над такой задачей ему необходимо подумать, на это экзаменатор заявил: «Думать надо было раньше, теперь ты должен отвечать», — и поставил ему двойку. Саша был совершенно убит таким неприкрытым издевательством и поначалу слышать не хотел о том, чтобы попытать счастья в другом учебном заведении (экзамены в МГУ проходили в июле, во все же остальные вузы — в августе). Наконец он дал себя уговорить, подал документы в МЭИ, сдал прекрасно и был

зачислен. Любопытно отметить, что еще через несколько лет в МЭИ тоже начисто перестали принимать евреев. Саша защитил диплом в 1967 году, но душевная травма, полученная в МГУ, не давала ему покоя настолько, что в начале 1970-х, уже довольно давно работая программистом, он добился приема туда на специальный математический факультет для лиц с высшим инженерным образованием и окончил его. Я же до сих пор убеждена, что именно потрясение, пережитое на приемном экзамене в 1962 году, стало первым стимулом для его принятого впоследствии решения покинуть эту страну.

В 1966 году Саша женился и переехал жить к жене. В январе 1967 года у них родилась дочь Мария, Маша, и, таким образом, у меня появилась внучка всего на два с половиной года младше моего сына Лени. Сашина жена, Елена Минкина, была переводчицей и литературным критиком (я пишу «была», так как в августе 1992 года она скончалась от рака позвоночника, буквально несколько дней не дожив до своего пятидесятилетия). Елена (родные и друзья звали ее Елкой) окончила немецкое отделение Института иностранных языков, переводила вначале с немецкого и голландского, а потом, в США, с английского. И там же регулярно публиковала в русскоязычной прессе статьи о советской литературе. Кроме того, еще в Москве, попав в нашу семью, она выучила польский язык (и Саша, и Лена знали польский язык с раннего детства, поскольку мы с мамой всегда между собой говорили по-польски, а Лена и вовсе стала потом профессиональным переводчиком) и даже перевела для одного из столичных издательств книгу знаменитого польского педагога и писателя Януша Корчака «Как любить ребенка».

В том же году, когда женился Саша, мы сделали приобретение, которому я не перестаю радоваться вот уже тридцать лет. В дачной подмосковной местности Шереметьевская, где мы много лет подряд снимали на лето дачу, мы купили часть дома с небольшим участком. Наша калитка выходит прямо в красивый лес, который тянется на много километров. Относительно недалеко находится Клязьминское водохранилище и река Клязьма с хорошими пляжами. В Москву оттуда ходят электрички, езды чуть больше получаса. Таким образом, дорога на работу занимала у меня, Сергея и других работавших членов семьи немногим больше времени, чем зимой из наших московских квартир.

Правда, уже после того, как мы там поселились, поблизости построили аэродром, даже два — Шереметьево-1 и Шереметьево-2, внутренний и международный. И самолеты то и дело пролетают с грохотом прямо у нас над головами. Но к этому

можно привыкнуть. И Лена, уже шестой год живущая в США, говорит, что из всего оставшегося на старой родине она больше всего тоскует по шереметьевской даче, и, когда в Америке выезжает за город, ей ужасно не хватает шума самолетов. Ну а для меня на Шереметьевке сосредоточилась вся моя любовь к родине, и, должно быть, именно поэтому я не хочу отсюда уезжать.

Я написала «любовь к родине» и сама удивилась: какая любовь, если мне всю жизнь казалось, что я ненавижу эту страну и мечтаю выбраться отсюда? Только относительно недавно, в сущности в последние годы, я поняла, что ненавидела не страну, а господствовавший в ней режим, и, когда этот проклятый режим наконец рухнул, я почувствовала, что пустила здесь глубокие корни, привязалась к российской природе, к людям, вросла в местную жизнь. И даже слушать не хочу, когда мои американские дети уговаривают меня переехать к ним на постоянное жительство. Навещая их в США, я особенно остро ощущаю, как чуждо мне там все и как мне близка Россия. Что ни говори, а пятьдесят с лишним лет, прожитых в стране, зачеркнуть невозможно.

А теперь я возвращаюсь в 1970-е годы. Моя Лена окончила школу, пыталась поступить на филфак МГУ, но, скорее всего по тем же причинам, что десятью годами раньше у Саши, у нее ничего не получилось. Она проработала год курьером в издательстве и собиралась возобновить свои попытки, когда мы вдруг узнали, что в Литературном институте Союза писателей на переводческом отделении набирают польскую группу. Как я уже писала, мои старшие дети выучили при своей бабушке польский язык. Лена все понимала, читала и, хотя говорила по-польски неважно, пробовала даже немного переводить. Словом, эта группа в Литературном институте была словно создана специально для нее. Лена представила на творческий конкурс несколько своих переводов (в этом институте к приемным экзаменам допускали только лиц, прошедших такой конкурс), потом успешно сдала экзамены и была зачислена. В годы учебы их группа несколько раз ездила на летние каникулы на практику в Польшу, и Лена очень полюбила эту страну.

Еще будучи студенткой, Лена родила сына Алексея, Алешу (теперь, в США, его зовут Аллен) — прекрасного парня, умного, способного, благородного, на которого мы все годы просто нарадоваться не можем. В том же году, всего несколькими неделями раньше Алеши, у меня родился еще один внук, сынок Саши и Елки, Константин, Костя (теперь Кит), тоже очень удачный во всех отношениях. Оба парня очень дружны между

собою. В раннем детстве, в Москве, они были чрезвычайно привязаны друг к другу, потом, после почти десятилетней разлуки, встретились снова в Бостоне, в США, и возобновили отношения.

В 1989 году Лена с Алешей прочитали в «Московском комсомольце» объявление, что Евгений Евтушенко (хороший поэт и неважный режиссер) ищет для своего фильма «Похороны Сталина» подростка лет четырнадцати еврейской наружности. Так как у Алеши, помимо всего прочего, были явные актерские способности, а наружность и возраст тоже соответствовали требованиям Евтушенко, то он в назначенный день и час поехал на Мосфильм на пробы, был выбран из без малого ста кандидатов и сыграл в этом фильме, где работал вместе с такими интересными людьми, как Савва Кулиш, Майя Булгакова, Алексей Баталов, Ванесса Редгрейв.

Лена, окончив институт, вначале преподавала литературу в школе, а потом больше десяти лет проработала в Москве переводчицей. Ее постоянно привлекали к внештатной переводческой работе иностранные комиссии Союза писателей, Союза кинематографистов, Союза архитекторов. Она переводила фильмы, работала с делегациями и гостями этих союзов, познакомившись таким образом с многими интересными людьми; с некоторыми из них она даже теперь, живя в США, переписывается и поддерживает дружеские отношения. Время от времени она переводила также литературные произведения для издательств. Из того, что я помню, вышло в ее переводе несколько рассказов Тадеуша Боровского («Прощание с Марией», «Январское наступление»), пьеса Славомира Мрожека «Посол», очерки об СССР Ханны Кралль, достаточно графоманский, на мой взгляд, роман Северины Шмаглевской «Невиновные в Нюрнберге». Знание польского языка пригодилось ей также и после переезда в США. Она преподает русский язык в престижном бизнес-колледже в Бостоне, но главным источником ее заработков являются переводы в судах. Она окончила курсы судебных переводчиков с русского и польского языков, у нее контракт с судебным ведомством штата Массачусетс, где они живут, и ее вызывают в суды всего штата в тех случаях, когда подсудимые не умеют изъясняться по-английски. Лена шутит, что зарабатывает главным образом благодаря полякам, которые гораздо чаще, чем бывшие советские евреи, бьют своих жен или пьяными садятся за руль. Но при этом она отмечает, что это совсем другие поляки, чем те, с которыми ей доводилось общаться в Москве и в Варшаве, и их польский язык тоже разительно отличается от того, на каком разговаривали ее европейские знакомые.

Примерно в середине 1970-х годов в СССР снова произошли некоторые изменения — слегка приподнялся «железный занавес». Это выразилось, в частности, в том, что евреям стали разрешать эмигрировать в Израиль. Правда, разрешения на выезд люди зачастую ждали годами, а пока таких, как тогда говорилось, «находившихся в подаче», то есть подавших заявление о том, что они хотят вернуться на историческую родину, чуть ли не официально называли изменниками, увольняли с работы, исключали из КПСС и комсомола. У уезжавших ветеранов войны отбирали ордена и медали. Правда, если верить газетам, в 1995 году в связи с 50-летием Победы российские посольства в США, Израиле и других странах стали возвращать тем ветеранам, которые еще не успели уйти в мир иной, отнятые когда-то награды, но большинство, увы, этого покаянного жеста российских властей так и не дождалось.

В связи с отбиранием партийных и комсомольских билетов мне вспомнился забавный случай: мой знакомый, математик Вадим Гольдберг, подал заявление о разрешении на эмиграцию для себя, жены и двух сыновей. Старший сын, Андрей, был студентом математического факультета МГУ. И вот созвали собрание комсомольской организации, чтобы обсудить этот гнусный поступок Андрея и выгнать его вон из комсомола. Секретарь факультетского комитета ВЛКСМ изложил суть дела и спросил, не хочет ли кто-нибудь высказаться. Тут подняла руку одна из студенток, встала и сказала: «Объясните, пожалуйста, почему уезжают только евреи. За какие такие заслуги им одним полагается эта привилегия?» В результате из комсомола исключили обоих — Андрея и позавидовавшую ему сокурсницу.

Если же вернуться к эмиграции, то из получивших разрешение отнюдь не все ехали в Израиль. Многие предпочли податься в Соединенные Штаты Америки, где и экономическое положение лучше, и войны то и дело не вспыхивают, не гибнут в сражениях сыновья. Происходило это так: получив разрешение на выезд и израильскую въездную визу, эмигранты летели в Вену, а там распадались на две группы: одна отправлялась в Израиль, вторая же в Италию, где люди начинали хлопотать о въездной визе в США. Поскольку счастливчиков, сумевших вырваться из СССР, было относительно немного, американские власти впускали практически всех желающих. Кроме коммунистов, которым въезд в США запрещен специальным законом. Бывшие советские коммунисты знали об этом и ехали прямо в Израиль. А вообще, можно ли было в то время, когда правительства всех цивилизованных государств непрерывно требовали от СССР соблюдения прав человека, в частности, предоставления каждому

свободы выбора страны проживания, предположить, что всего через десяток с небольшим лет все коренным образом изменится? Что выехать отсюда можно будет в любой момент, а почти неразрешимой проблемой станет получение вида на жительство в США, Канаде, Австралии или в европейских странах? Американское консульство в Москве, например, отказывает 80 % российских граждан, хлопочущих не только о статусе беженца или иммигранта, но даже о гостевой визе. Власти этих стран понять можно: уж очень многие хотят покинуть бывший Советский Союз, и все чаще случается, что человек едет будто бы в гости на несколько недель, а потом не возвращается, всеми правдами и неправдами продлевая свое пребывание за рубежом. Невольно возникает мысль, что несравненно легче требовать соблюдения прав человека от других, чем самим их соблюдать.

Эмиграционный бум не обошел стороной и мою семью. В конце 1970-х решили уехать Саша с Елкой и с детьми. Я была их решением совершенно убита, так как Саша сразу же меня предупредил, что они собираются не в Израиль, а в США. Если бы они ехали в Израиль, я бы к ним присоединилась, не раздумывая ни минуты, ведь я мечтала об этой стране с ранней юности. И Лену мне бы удалось уговорить без труда, и, думаю, даже Сергея, хотя ему было тогда под семьдесят и он без устали повторял, что ему уже не по возрасту перемены, что старые деревья не пересаживают и прочее в том же духе. Позднее он мне все-таки как-то сказал, что, зная мои пристрастия, в Израиль он бы все же со мной поехал. Но мне, увы, не удалось привить своим детям идей сионизма, хотя, видит Бог, я очень старалась. Они все трое, даже полукровка Леня, чувствуют себя евреями, и Израиль их вполне интересует, но не настолько, чтобы захотеть там жить.

В конце концов мне пришлось смириться с Сашиными планами, я подписала бумагу о том, что против намерения моего сына эмигрировать не возражаю и материальных претензий к нему не имею; то же самое сделали мой бывший муж Борис и мать Елки (Елкин отец погиб на фронте в канун ее рождения), и в 1979 году они подали соответствующие заявления. В ту пору уже, к счастью, существовала инструкция, что в подобных случаях не выгоняют с работы обоих супругов (раньше многие семьи оказывались просто на грани голодной смерти), а, по их собственному усмотрению, один увольняется, второй же продолжает работать. Неуезжающие родители всячески скрывали у себя на работе планы своих детей, потому что их тоже ждало увольнение. Я знаю ряд случаев, когда молодые подавали заявление на выезд, родители теряли работу, молодым потом отказывали в визах, но обратно на работу не брали никого.

Елка, работавшая редактором в издаваемом Библиотекой иностранной литературы журнале «Художественная литература за рубежом», уволилась, Саша же остался на прежней должности в своем НИИ. Более того, его вызвал к себе директор института и предложил «джентльменское соглашение»: поскольку Саша работает над проектом, которого в случае его отъезда никто другой завершить не сможет, то пусть Саша трудится теперь изо всех сил, по десять и более часов в день и без выходных, чтобы поскорее все доделать, а он, директор, со своей стороны, обещает платить ему потом жалованье столько времени, сколько понадобится, не поручая больше серьезных заданий. Саша уложился в самые сжатые сроки, директор тоже сдержал слово. Впрочем, он зря тревожился. Саша ждал разрешения более полутора лет, что тогда было отнюдь не редкостью. Они уехали только в феврале 1981 года. Мы прощались в полной уверенности, что это навсегда, что больше уже никогда в жизни не увидимся. Въезд в СССР был для таких «изменников-эмигрантов» закрыт; их навещать тоже было нельзя. Помню, вернувшись с аэродрома, я несколько дней рыдала не переставая. Сергей, Лена, Леня и даже маленький Алеша утешали меня как могли, а я повторяла снова и снова, что потеряла сына, и лила слезы. Но в конце концов ко всему привыкаешь. И я тоже смирилась со своим горем, тем более что от Саши и Елки стали приходить письма — сначала из Рима, а потом, с апреля, уже из США, из Бостона. В Америке их судьба сложилась неплохо. Саша довольно скоро устроился на работу программистом и успешно продвигался по службе, прилично зарабатывал, они купили дом в пригороде Бостона. У Елки не было штатной работы, но она тесно сотрудничала с Русским центром Гарвардского университета, переводила, писала статьи о советской литературе для русскоязычных журналов и газет в США и во Франции, таких как «Континент», «Новое русское слово», «Русская мысль» и другие. Дети учились в школе. Где-то в конце 1980-х фирма, в которой работал Саша, обанкротилась, спрос на программистов в их штате в ту пору сильно упал, и Саша решил попробовать себя в бизнесе. Он вполне преуспел и занимается этим поныне. Увы, как я уже писала, в 1992 году у них случилось несчастье. Вскоре после своей серебряной свадьбы Саша овдовел и живет один до сих пор.

Год спустя после Сашиного отъезда окончил школу Леня. Начались проблемы с выбором направления дальнейшей учебы. Сам он никак не мог решиться: с одной стороны, он очень любил литературу, с другой — у него были явные математические способности. И тут мы с Сергеем совершили ошибку, уговорив его выбрать специальность, к которой у него не было ни интереса, ни

особых способностей. Он поступил на факультет экономической кибернетики Московского экономико-статистического института (МЭСИ). Главным фактором, повлиявшим на нашу решимость, был относительно небольшой конкурс в этом институте, что увеличивало шансы поступления. А мы тогда думали не столько о будущей Лениной профессии, сколько об его освобождении в связи с учебой от военной службы. И тут мы жестоко просчитались. Именно в том году достигло призывного возраста поколение ребят, чьи родители появились на свет во время войны (я была в этом смысле нетипична, поскольку родила Леню в сорок один год). В войну, как известно, детей рождалось мало, а когда подросли в свою очередь дети того поколения, то оказалось, что армии катастрофически не хватает призывников. И как раз когда Леня начал учиться в институте, вышло распоряжение об отмене на несколько лет отсрочки для студентов. Таким образом, едва вкусив студенческой жизни, мой младший сын ушел служить в армию. Мы были расстроены ужасно: мало того что это распоряжение было для нас полнейшей неожиданностью, ударом, о котором мы и думать не могли, вдобавок еще рост у Лени 190 сантиметров, а таких, как правило, направляют на флот. Это значило, что он будет служить не два года, как во всех остальных родах войск, а целых три.

Когда эти наши опасения, увы, подтвердились, я нашла себе, как всякая мама, новый повод для волнений — стала опасаться, что Леня попадет на подводную лодку. И тут я в очередной раз не могу не рассказать об «интернационализме» советских властей: в один из дней я вышла погулять с нашей собакой (у нас был чудесный ньюфаундленд по кличке Вита) и поделилась своими страхами с соседом, тоже выгуливавшим в сквере собаку. Выслушав меня, сосед сказал: «Можете совершенно не волноваться. Вы ведь, если не ошибаюсь, еврейка?» Я подтвердила. «Ну тогда будьте спокойны. Я сам служил на флоте и знаю: не только на подводных лодках, но вообще на всех боевых кораблях служат исключительно чистокровные русские, украинцы и белорусы. Остальных посылают на всякие подсобные объекты». Сосед не ошибся. Леню направили в Каспийскую флотилию. А когда их группу, около ста призывников, привезли к Каспийскому морю, в столицу Азербайджана, Баку, им первым делом велели заполнить подробные анкеты. Кроме традиционных анкетных пунктов там был следующий: «Девичья фамилия матери». Я не раз пыталась угадать, в чем состоял смысл этого дополнительного вопроса, ведь национальность каждого из родителей надо было указать и без него. Дело было, вероятно, в том, что какой-нибудь молодой калмык, узбек, татарин или еврей мог в графе

«национальность матери» соврать и написать «русская», а вот придумать ей «подходящую» девичью фамилию было уже сложнее. Так или иначе, Леня попал на так называемую плавмастерскую, то есть на корабль, который все время стоял на причале, а его команда выполняла различные ремонтные работы. Теоретически им полагалось раз в году выходить на две недели в море для учений, но, во всяком случае на Ленином корабле, эти учения сводились к ловле рыбы для офицерского состава. Словом, потерянные три года, в течение которых мой сын не научился ровным счетом ничему. Впрочем, я, кажется, утрирую: он немного овладел малярным делом, умеет красить стены, что нам потом пригодилось во время очередного ремонта квартиры. Но для приобщения к этому ремеслу три года — слишком долгий срок.

Впрочем, мы утешались тем, что могло быть хуже. Дедовщина на их корабле была умеренная. Лене всего только один раз отбили почки, после чего он попал в госпиталь (мы, то есть домашние, узнали об этом значительно позже, после его демобилизации), ребята там в большинстве своем служили симпатичные. Сергей, я и Лена старались время от времени Леню навещать. Я, например, дважды провела отпуск в Доме творчества Союза писателей Азербайджана, в курортной местности Шувеляны, под Баку, на берегу Каспия. И надо сказать, что командиры части, в которой служил Леня, с пониманием относились к таким посещениям родных: каждое воскресение давали ему увольнение, и он приезжал ко мне. А раз или два провел у меня даже весь уик-энд. В Доме творчества этот худющий бритоголовый матрос вызывал всеобщий интерес и симпатию, все старались скрасить ему пребывание с мамой, а заодно и подкормить его. В результате во время трапез в общей столовой ему со всех сторон несли вкусные блюда, о существовании которых мой бедный сын уже почти забыл. И Леня так объедался, что я начинала опасаться за его здоровье. Но все обошлось.

Лена с Алешей тоже провели один отпуск в Шувелянах, да и Сергей несколько раз за это время побывал в Баку. Будучи в Азербайджане, мы завели знакомства в среде местной творческой интеллигенции и поддерживали эти отношения в течение ряда лет. Контакты с некоторыми из них ослабели на рубеже 1980-х и 1990-х годов в связи с началом конфликта в Нагорном Карабахе — наши взгляды на те события коренным образом расходились. Ну а потом, когда Советский Союз распался и Азербайджан превратился в независимое государство, телефонные разговоры и поездки стали такими дорогими, что общение и вовсе прекратилось. Лишь изредка объявляется в Москве и звонит по

телефону кто-нибудь из тамошних старых друзей.

Леня демобилизовался и возобновил учебу в институте в 1985 году, как раз в первый год перестройки, — пока он служил, мы успели похоронить одного за другим трех генеральных секретарей КПСС: Брежнева, Андропова и Черненко. Генсеком стал Михаил Горбачев, и с тех пор обстановка в стране стала меняться буквально изо дня в день. Можно по-разному относиться к Горбачеву, но нельзя отрицать тот факт, что именно проводимые им реформы привели к коренному изменению обстановки в Европе, да и во всем цивилизованном мире. В СССР же перемены ощущались на каждом шагу, причем в самых различных областях. В частности, покинувшие страну эмигранты перестали считаться изменниками родины. Я бы долго еще об этом не знала, потому что пресса как-то обходила данный вопрос молчанием, но вдруг, в первом квартале 1987 года, пришло письмо от Саши, который писал, что они бы хотели всей семьей приехать на несколько недель в Москву. Это стало возможным, но нужно приглашение от кого-нибудь из родителей. Мы начали совещаться. Сашиного отца уже не было в живых, он умер еще до их отъезда, в 1980 году. Елкина мама сказала, что мечтает о приезде детей, но, если она станет оформлять приглашение, ее муж, Елкин отчим, специалист по ядерной физике и сотрудник Международного института ядерных проблем в Дубне, мгновенно вылетит с работы. Оставалась одна я. Я тоже не сомневалась, что меня тут же уволят (для оформления приглашения требовалась характеристика с места работы за подписями главы учреждения, секретаря партийной организации и руководителя профсоюза), но решила, что это меня не остановит. Я давно перешагнула пенсионный возраст, Сергей и вовсе был уже на пенсии, так что ему ничто не угрожало, а для меня перспектива увидеть сына и внуков была важнее продолжения работы. Товарищи по редакции пытались меня отговорить от этого шага и очень за меня переживали, но я была непреклонна, напечатала на машинке текст характеристики с рекомендацией оформить мне приглашение и пошла с ним в кабинет заместителя главного редактора Бочкарева (главный был не то в отпуске, не то на больничном) с таким чувством, с каким, должно быть, солдаты во время войны бросались на амбразуру. Бочкарев выслушал меня и, к моему несказанному изумлению, тут же подписал характеристику, говоря при этом: «Представляю, как вы соскучились, столько лет не видя сына». Ну а партийное и профсоюзное начальство, обнаружив под характеристикой подпись Бочкарева, без лишних слов последовало его примеру. Когда я вернулась в нашу комнату, где все меня с волнением

поджидали, и рассказала, как было дело, они поначалу думали, что я шучу. Никто не верил, что наше руководство может так себя повести в данной ситуации. И вот тогда-то я по-настоящему убедилась, что времена изменились до неузнаваемости.

Оформление приглашения и пересылка его в США заняли несколько месяцев. Потом Саша с Елкой довольно долго ждали, пока советское консульство в Вашингтоне пришлет им въездные визы. Наконец все формальности были позади, и Саша сообщил, что они приедут в начале 1988 года. Пошли недели радостного ожидания и приготовлений, и тут вдруг нас постигло несчастье: 18 декабря 1987 года внезапно умер Сергей. Правда, ему уже было семьдесят шесть лет, но он был здоров, ни на что не жаловался. В тот день вышел утром за покупками, но плохо себя почувствовал и вернулся домой. Я была на работе, после обеда, как обычно, позвонила Сергею, однако он ничего мне не сказал о своем состоянии. Придя вечером домой, я увидела Сергея лежащим на диване, рядом сидел Леня, недавно вернувшийся из института, и приглашенная им соседка-врач. Обследовав Сергея, она сказала, что не видит ничего угрожающего, обыкновенная аритмия, но посоветовала в случае ухудшения самочувствия вызвать скорую помощь. Мы уложили Сергея в постель, поужинали, он заверял нас, что чувствует себя уже совсем нормально, потом вдруг захрипел и потерял сознание. Когда, буквально через двадцать минут, приехала вызванная нами скорая помощь, он уже не дышал. Врач поставил диагноз: обширный инфаркт. Это был для всех нас ужасный удар. Особенно страдал Леня, необычайно привязанный к отцу. О себе я уже не говорю — мы прожили с Сергеем в любви и согласии более четверти века, а теперь меня ждала одинокая старость. Похоронили мы Сергея в Шереметьевке, на сельском, но большом и ухоженном кладбище, на краю леса. От нашей дачи до кладбища всего минут пятнадцать ходьбы, и летом я часто там бываю. Сижу на скамейке под кустом жасмина, гляжу на надгробие с вмонтированной фотографией и предаюсь воспоминаниям.

Ну а тогда жизнь пошла своим чередом. В феврале приехали наши «американцы». Мы встретились ровно через семь лет с момента расставания, и мне вряд ли нужно описывать наши эмоции. Две недели Сашиного отпуска пролетели как один день, среди непрерывных встреч, визитов, посещений театров. Провожали мы их с грустью, но без отчаяния 1981 года — знали, что расстаемся не навсегда и даже не надолго. Саша привез приглашения для меня и для своей тещи, и мы действительно навестили их в октябре того же года. А Лену и Леню Саша горячо

уговаривал последовать его примеру и эмигрировать, понимая, что, если они уедут, то и я одна в СССР не останусь. А что касается их пребывания в Москве, то еще хочу отметить, что они приехали не вчетвером, как предполагали, а втроем — Саша, Елка и Костя. Костя уехал из СССР шестилетним ребенком, мало что помнил, и ему все было интересно. Маша же, которой к моменту эмиграции уже исполнилось четырнадцать лет, покинула страну с ненавистью (ее семитская внешность заставила ее пережить немало горьких минут в школе и не только), приехать не захотела, говоря, что в СССР делать ей совершенно нечего, а с родней она предпочитает повидаться в Америке. Об этом не стоило бы рассказывать, если б не продолжение. Окончив учебу, Маша стала довольно популярной журналисткой и, если не ошибаюсь, в 1991 году приехала по каким-то своим профессиональным делам в Москву. С той поры она старалась посещать бывшую родину как можно чаще и в финале решила, что жизнь в США несравненно скучнее, чем в России, где то и дело происходят захватывающие события, восстановила свое российское гражданство (не отказавшись, разумеется, от американского) и уже около трех лет живет постоянно в Москве, пишет статьи для московских газет и журналов, а также для американских и даже лондонских изданий. В США же ездит только время от времени, чтобы повидать отца и друзей.

После возвращения Саши с семьей в Бостон я начала готовиться к своему первому в жизни дальнему путешествию за рубеж. И вдруг подумала: раз стали сбываться мечты, которые еще совсем недавно казались совершенно утопическими, то, быть может, мне удастся побывать также и в Израиле, к которому я стремилась с юных лет. Из СССР, равно как из Польши и других соцстран, тогда (в 1988 году) еще нельзя было ездить в гости в капиталистические страны просто к знакомым, разрешалось навещать только ближайших родственников. Но моя ифлийская подруга Эда Михальская рассказала мне, что недавно ездила из Варшавы к своему сыну в Париж и там узнала, что израильские консульства нашли частичный выход из этого положения: гражданам соцлагеря, гостящим в какой-нибудь из стран капитализма, они выдают въездную визу в Израиль на отдельном листке бумаги, без штампа в паспорте, и, таким образом, посещение Израиля остается тайной для родимых властей. Эда воспользовалась этой возможностью, съездила из Франции на Землю обетованную и вернулась оттуда в полном восторге.

Саша, которому я сумела передать эту информацию, вначале не поверил и сходил в израильское консульство в Бостоне, где ему это подтвердили. Оставалась последняя проблема —

въездная виза в США, тоже на отдельном листке, чтобы я могла из Израиля вернуться в Бостон и уже оттуда лететь домой (в американском консульстве в Москве мне дали одноразовую визу, которую надо было использовать при въезде в США из Советского Союза). И Саша написал длинное письмо американскому консулу в Тель-Авиве, подробно рассказав о том, как его мама с малых лет мечтала об Эрец-Исраэль и как она теперь жаждет воспользоваться подвернувшейся наконец возможностью. Я до сих пор храню копию этого ввергшего меня в изумление письма: мне просто не верилось, что мой сын, рационалист и прагматик, способен сочинить столь трогательное послание. Консула, судя по результату, оно тоже не оставило равнодушным: когда я уже была в Бостоне, из Тель-Авива пришел ответ. Консул писал, что прекрасно понимает чувства Сашиной мамы. Пусть мама спокойно едет в Израиль и там обратится в консульство к служащей с такой-то фамилией, где ее уже будет ждать столь оригинальная виза. Действительно, в американском консульстве в Тель-Авиве все пошло как по маслу: там уже знали обо мне (с подобными просьбами до меня явно никто не обращался), ввели внутрь, обойдя солидную, выстроившуюся вдоль улицы очередь, и вручили листок с визой. Хуже было на паспортном контроле в Нью-Йорке, когда я прилетела обратно. Чиновник, проверявший мои бумаги, никак не мог взять в толк, что это за странная виза у меня, а я на своем далеком от совершенства английском языке не умела ему объяснить, в чем дело, только безуспешно пыталась вырвать у него из рук мой паспорт, восклицая: «*Don't stamp my passport*!», то есть «Не ставьте мне печать в паспорте!». Все это длилось довольно долго, другие ожидавшие своей очереди пассажиры начали терять терпение, а я была в отчаянии, представляя себе, как Саша ждет меня на бостонском аэродроме, в то время как работник советского консульства, вызванный на аэродром в Нью-Йорке, отправляет меня обратно в Москву. О такой возможности меня предупредил таможенный чиновник, но потом все же сжалился надо мной, махнул рукой и разрешил пройти.

Ну а само путешествие по Израилю было как чудесный сон. Я встретила там знакомых и друзей, которых не видела полстолетия, а про некоторых даже не предполагала, что они живы. Меня разыскали тетя и двоюродные брат и сестра, познакомили меня со своими детьми и возили по этой прекрасной стране. Остановилась я в Тель-Авиве у Саломеи Хершенберг, с которой была знакома еще в Белостоке, а потом подружилась в Москве в годы ее учебы в Текстильном институте. Кроме того, я побывала в Иерусалиме, Хайфе, на Мертвом море и

на Голанских высотах, несколько дней прожила в кибуце. И не переставала гордиться и восхищаться тем, как мои соплеменники сумели всего за несколько десятилетий превратить пустыню в цветущий сад. А что самое главное, впервые в жизни, а ведь мне было уже хорошо за шестьдесят, я испытала совершенно незнакомое мне прежде чувство, что я у себя, в своей стране, на своей земле. Никогда прежде, ни в Польше, ни в СССР, я ничего подобного не ощущала и только теперь осознала, как сильно мне этого не хватало и до чего это необходимо человеку, чтобы не чувствовать себя существом второго сорта.

С той поры прошло уже семь лет, а я то и дело мысленно возвращаюсь к тем двум неделям и все острее чувствую, что безумно хочу поехать туда еще раз, хотя бы ненадолго. Кто знает, авось эта моя мечта сбудется. Во всяком случае, мои американские дети и внуки планируют совершить в обозримом будущем такое семейное путешествие.

В Бостоне мы с Елкиной мамой провели около двух месяцев (ввиду моего пенсионного возраста мне полагался в дополнение к очередному отпуску еще месяц без сохранения содержания), и впечатлений у меня тоже было более чем достаточно. Интересных и в основном приятных — Саша с Елкой очень старались, чтобы мамы были довольны этим своим первым визитом к ним. Но моим главным впечатлением и выводом было то, что я охотно буду приезжать туда еще не раз, но жить там постоянно не хочу ни за что на свете. На первых порах меня ошеломило богатство и изобилие. Когда я ходила с Елкой в супермаркет, мне хотелось плакать при мысли о том, как трудно в Москве моему тамошнему семейству. Это теперь у нас можно купить, в сущности, все, почти как в Америке, были бы только деньги. Но тогда снабжение было еще социалистическим, то есть, выходя за покупками, ты никогда не знал, что окажется в продаже в магазинах и сколько придется стоять за этим в очереди. Так было в Москве. А в большинстве провинциальных городов вообще нельзя было ничего купить, магазины пустовали, и сотни тысяч людей ежедневно приезжали в столицу за самым необходимым, еще больше увеличивая толкотню у прилавков. В общем, в первые дни в Бостоне я каждые полчаса подходила к холодильнику за куском сыра или ломтиком колбасы, к вазе с фруктами за бананом или еще чем-нибудь. Но уже через неделю моя гастрономическая алчность миновала, и изобилие в магазинах перестало меня поражать. Я привыкла. В то же время все больше вещей меня раздражало. Например, американские гости (вроде бы интеллигенты, с высшим образованием), не умеющие пользоваться ножом и вилкой, но зато с величайшей непринужденностью кладущие ноги на стол.

Впрочем, во время своего первого приезда в США я с ними встречалась мало: Саша и Елка объяснили мне, что разговаривать с американцами им абсолютно не о чем и что они общаются главным образом с иммигрантами из СССР.

Меня, кроме того, приводило в ярость содержание тамошних газет и телевизионных информационных программ. Вот характерный пример не с той первой, а с моей последней, четвертой по счету поездки в Бостон. Я провела у Лены с Алешей зиму 1994–1995 годов, с начала декабря по конец февраля. Как раз началась война в Чечне. Я была чрезвычайно взволнована и с огромным нетерпением ждала последних новостей. Но американцев интересовало совсем другое: шел суд над известным негритянским футболистом Симпсоном, обвиняемым в убийстве бывшей жены и ее друга. И вот получасовые новости на всех без исключения телеканалах выглядели примерно так: двадцать минут рассказа о процессе Симпсона, пять — о заседаниях Конгресса и Сената, три — о демонстрациях гомосексуалистов и их противников или сторонников и противников абортов и последние две минуты — о Чечне. Причем далеко не всегда. Газетные сообщения тоже распределялись подобным образом. Я была вне себя от негодования. Правда, со временем у меня прибавилось терпимости.

Мне в этом очень помогла принесенная кем-то из знакомых книга *Life in a New Language*, то есть «Жизнь в новом языке». Автор этого автобиографического произведения — польская еврейка по фамилии, если не ошибаюсь, Гофман. Она родилась в начале войны, ее родители все годы оккупации прожили, прячась в лесной избушке, где их опекала знакомая крестьянская семья из близлежащей деревни. После войны они вернулись в свой родной город Краков, прожили там не то до 1956, не то до 1957 года, а затем эмигрировали, сначала в Канаду, потом в США. Автор, теперь известная журналистка и искренняя американская патриотка, рассказывает, что после Кракова, где их семья вращалась в среде подлинных интеллектуалов, она не могла примириться с культурным уровнем американцев. Все ее раздражало и возмущало. Только спустя довольно продолжительное время она осознала, что это ведь совсем молодая нация, от которой нельзя требовать того, чего требуешь, например, от европейцев. К американцам нужно относиться как к детям, писала она. Поняв это, она перестала негодовать и воспринимает все как нечто совершенно естественное. Я тоже пытаюсь встать на такую позицию, но пока, увы, это мне не всегда удается. А ведь мои контакты с этой страной становятся теснее год от года. Саша, которому действительно живется в США

несравненно лучше, чем прежде в СССР, как я уже писала, горячо уговаривал нас всех туда переехать.

Леня об этом даже слышать не хотел. У него нет Сашиной деловой хватки, и он вряд ли мог бы рассчитывать на то, чтобы там разбогатеть. К тому же он очень любит и хорошо знает русскую литературу, историю, культуру. Ну и, кроме всего прочего, он, в отличие от моих старших детей, наполовину русский, печально известный «пятый пункт» в паспорте у него в полном порядке, да и внешностью он нисколько не похож на еврея и поэтому свободен от комплексов, мучивших многих евреев. В 1990 году он женился. Его жена Наталья, очаровательная молодая женщина (тоже, кстати, полуеврейка), по профессии преподаватель русской словесности, так что и ей в США делать нечего. Зато Лену эта идея заинтересовала. Долгое время в семье шли споры, так как Лена ни за что не хотела уезжать без меня. Я же убеждала ее, что времена изменились, «железного занавеса» больше не существует, мы сможем регулярно переписываться и навещать друг друга, поэтому пусть они с Алешей отправляются без меня, если им этого так хочется, а там будет видно. Словом, в 1989 году они подали документы, а в августе 1990-го уехали. Поначалу они бедствовали, но им помогали Саша с Елкой, а также местная еврейская община — эти общины в США в течение полугода выплачивают пособие еврейским иммигрантам, получившим статус беженцев. Ну а потом они постепенно встали на ноги.

Впрочем, что касается Лены, то мне до сих пор кажется, что ее жизнь в Москве была значительно интереснее и насыщеннее. Хотя, как я уже писала, она преподает в колледже русский язык, переводит в судах, да к тому же у нее совершенно неожиданно обнаружился талант живописца, и теперь в свободное от работы время она с увлечением рисует и пишет картины. По словам понимающих людей — очень хорошие.

Алеша окончил в Бостоне среднюю школу и поступил учиться в тот же бизнес-колледж, где преподает его мама. Он оказался прирожденным бизнесменом, и никто не сомневается в его будущей карьере. Причем не только в бизнесе. Уровень преподавания в тамошних школах таков, что многие троечники российских школ, приехав туда, становятся отличниками. Алеша окончил в Москве восемь классов. Учился неплохо, но наклонности у него были скорее гуманитарные, а с математикой он был постоянно не в ладах. Отметки по этому предмету у него колебались между тройкой и двойкой, и, когда угроза двойки становилась реальной, ему в пожарном порядке начинала давать уроки моя приятельница Людмила Акивис, преподававшая

математику в другой школе. Приехав в Бостон и поступив там в школу, Алеша записался по математике в группу среднего уровня (там по каждому предмету класс делится на группы трех уровней — низкого, среднего и высокого). Спустя месяц его перевели на высокий уровень, а через полгода он уже был в своем классе светилом и подрабатывал, давая отстающим ученикам уроки математики. В колледже профессор математики назначил его своим платным ассистентом, а кроме того, он помогает своим ленивым, туповатым, но богатым однокурсникам заниматься едва ли не по всем предметам и неплохо на этом зарабатывает.

С его легкой руки также стал подрабатывать Костя, который изучает в Гарвардском университете литературу, очень хорошо пишет и, когда Алеша бывает перегружен, помогает его «клиентам» в сочинениях по литературе, искусству и другим предметам. Кто-нибудь может спросить: откуда литература и искусство в бизнес-колледже? Ответ прост: американские вузы стараются дать студентам возможность хотя бы частично наверстать то, чему их недоучили в средней школе. Поэтому независимо от профиля высшего учебного заведения молодежь на первых двух или трех курсах не только овладевает своей будущей специальностью, но и изучает литературу, историю искусств, философию, всеобщую историю и прочее.

Ну а я живу в Москве и тоскую по ним. Мы регулярно обмениваемся пространными письмами, говорим по телефону, я езжу к ним в гости. Лена с Алешей уже тоже побывали в Москве во время каникул, Саша за последние годы приезжал несколько раз по делам, Маша живет здесь постоянно, а теперь на один семестр в Российский государственный гуманитарный университет по обмену приехал Костя. Так что мне вроде бы не на что жаловаться. Но я с умилением вспоминаю времена, знакомые мне в основном по литературе, когда все поколения одной семьи проводили жизнь в одном и том же городе или местечке, никуда не уезжая. Там они рождались, жили и умирали. Как это было естественно и хорошо! А теперь все куда-то едут, одни на время, другие насовсем. И я чувствую, как вокруг меня образуется почти что вакуум. Тем более что мое поколение постепенно переходит в мир иной. Словом, как говорил поэт, «иных уж нет, а те далече». К тому же с января 1991 года я сижу без работы — закрылся журнал, в котором я трудилась без малого сорок два года.

К слову, в течение последних нескольких лет существования журнала, после смерти нашего главного редактора Саввы Дангулова, его возглавлял писатель Александр Проханов. О нем стоит вкратце рассказать, ибо его эволюция очень типична для советского общества. Он приобрел известность опубликованным в

годы вторжения СССР в Афганистан романом «Дерево в центре Кабула», который прославлял этот шаг советских властей. Помнится, мой друг Михаил Геллер (муж моей близкой, умершей в Париже ифлийской подруги Евгении Хигриной, о которой я писала), профессор Сорбонны, политолог и исследователь советской литературы, писал об этой книге в парижской газете «Русская мысль», что для советологов, проживающих за рубежом, книги таких графоманов, как Проханов, намного ценнее творений талантливых писателей, поскольку талантливый писатель выражает в своем произведении себя, графоман же — генеральную линию партии. В ту пору, когда Проханов стал нашим главным редактором, в стране как раз началось возрождение религии. Ну и марксист Проханов, естественно, оказался в первых рядах, в связи с чем наш журнал стал в каждом номере печатать по несколько статей на соответствующие темы. Помню, что я переводила интервью с главным раввином города Киева, статьи о буддизме, индуизме, католицизме и протестантстве, не говоря уже о православии. К тому времени как журнал перестал выходить, религия уже стала банальной темой, и Проханов опять изменил направление: начал издавать фашистскую, националистическую газету «День», а когда ее закрыли после событий октября 1993 года, переименовал ее в «Завтра», выходящую по сей день. Недавно я случайно встретила Проханова на улице, и, хотя мы в течении нескольких лет общались по делам редакции почти ежедневно, мы оба сделали вид, что незнакомы. Мною двигало презрение, им же — стыд или, быть может, антисемитизм. Скорее даже последнее.

Пару лет назад, после довольно продолжительного перерыва, я съездила в Варшаву. Это было в апреле 1993 года, и целью моей поездки было присутствие на торжествах, посвященных пятидесятилетию восстания в варшавском гетто, где погибла большая часть моей семьи. Ну и заодно мне хотелось повидаться с моей кузиной Аней и с тамошними друзьями.

Торжества были отлично организованы и произвели на меня большое впечатление. Я старалась не пропустить ни одного мероприятия, связанного с этой трагической датой. Была на встрече на еврейском кладбище, на нескольких митингах у памятника героям гетто, на торжественном вечере во Дворце науки и культуры. Хотела съездить также в Белосток, где для удобства приезжающих из-за границы гостей намеревались первоначально отметить пятидесятилетие восстания в тамошнем гетто тоже в апреле, хотя оно вспыхнуло в августе. Но потом городские власти отказались от этой идеи и перенесли торжества на август. Мне было очень жаль, потому что в Белосток обещали

приехать мои земляки из Израиля, и мы планировали встречу, в связи же с переносом даты они отложили свой приезд. Ну а я вторично приехать не могла, так как сразу по возвращении из Варшавы собиралась в Бостон — оба моих внука, Алеша и Костя, учились в одном классе, оканчивали школу и хотели, чтобы я обязательно присутствовала на так называемой *Graduation ceremony*, то есть на церемонии вручения абитуриентам аттестатов зрелости.

Если же вернуться к моему пребыванию в Варшаве, то хочу сказать, что меня там поразило явление, которое могло бы стать, на мой взгляд, предметом изучения для психологов и социологов. А именно — антисемитизм без евреев. Быть может, я ошибаюсь, но, по-моему, это нечто совершенно новое в истории не только Польши, но и мира вообще. Да, антисемитизм в большей или меньшей степени существовал с незапамятных времен во всех странах еврейской диаспоры. Но в этих странах проживали евреи, составлявшие какой-то реальный процент от общего числа населения. Что же касаемся Польши, то три с лишним миллиона евреев, живших там до войны, почти полностью уничтожил Гитлер, а из тех нескольких десятков тысяч, которые так или иначе спаслись, подавляющее большинство выжил из страны в 1968 году тогдашний генеральный секретарь польской компартии Гомулка. Отправляясь в Варшаву в 1993 году, я знала из газет, что во всей Польше существует девять еврейских общин, насчитывающих в общей сложности две тысячи человек, а это по отношению к численности всего населения (около сорока миллионов) составляет сотые доли процента. Итак, я приезжаю в страну, где евреев можно показывать местным туристам как этнические раритеты, и что вижу? В подземном переходе на перекрестке двух главных улиц Варшавы, Маршалковской и Иерусалимских аллей, во всю стену красуется яркая надпись *Juden raus*! что значит по-немецки: «Евреи, убирайтесь вон!» А у входа в Варшавский университет на стене крупными буквами написано, на этот раз по-польски (слово в слово повторить не могу, но содержание помню), что место евреев в двух метрах под землей, то есть на кладбище. Я была этим потрясена и совершенно убита, и с тех пор у меня нет никакого желания посещать страну моего детства.

И еще одна деталь на эту же тему: на торжества по случаю пятидесятилетия восстания в гетто буквально на два дня, проездом с какой-то конференции в Будапеште, приехала в Варшаву моя внучка Маша, у которой, как я уже писала, сугубо семитская внешность. Так вот Маша рассказала мне, что за эту пару дней в Варшаве она слышала больше антисемитских

высказываний в свой адрес, чем за целый год в Москве, где такое, увы, тоже случается нередко, но где все-таки, в отличие от Варшавы, проживает несколько сотен тысяч евреев.

После этих, мягко выражаясь, отрицательных варшавских впечатлений пребывание в США было для меня необычайно приятным. Бостон, вернее прилегающий к нему восьмидесятитысячный городок Ньютон, где живет мое семейство, представляет собою как бы американский мини-Израиль. Евреи составляют там большинство жителей, там есть еврейские клубы, рестораны, продовольственные магазины с кошерными продуктами и вывесками на двух языках — английском и иврите, работают курсы иврита и идиш, еврейские школы, я уже не говорю о синагогах. Когда идешь по улице в пятницу вечером, видишь во многих окнах семисвечники с зажженными свечами. Я знаю, что и в США хватает национальных проблем, неизбежных, пожалуй, в наше время в таком расовом, этническом и религиозном конгломерате, но там как федеральные, так и местные власти решительно с этим борются. Чего, к сожалению, нельзя сказать о моей родной российской власти. В России, как и раньше в СССР, уже давно нет государственного, то есть идущего сверху, антисемитизма. Но превратно понимаемая нашим руководством демократия ведет к тому, что каждый волен безнаказанно вести расистскую, фашистскую или антисемитскую пропаганду. Выходят десятки газет такого толка, а властные органы делают вид, что ничего предосудительного не происходит.

Например, в апреле 1995 года Маша несколько раз брала меня с собой в Московский городской суд, где слушалось дело некоего Виктора Корчагина — директора издательства «Витязь» и главного редактора газеты «Русские ведомости». И то и другое существует с 1991 года. Издательство выпустило за это время состоящую из двадцати пяти книг библиотеку классиков мирового антисемитизма (на нее объявлена подписка), а газета напечатала несколько раз, через определенные промежутки времени, так называемый «Катехизис еврея в СССР» — сочиненную еще в 1950-е фальшивку типа «Протоколов сионских мудрецов». Авторы «Катехизиса» поучают советских евреев, как им захватить власть в СССР, подчинив себе тупой русский народ. В течение почти четырех лет два активиста Союза евреев — ветеранов Великой Отечественной войны, Ефим Гохберг и Владимир Островский, добивались в разных инстанциях приема в суд их иска против Корчагина. Районный суд отказывался рассматривать это дело, ссылаясь на принцип свободы слова, но в конце концов им удалось поставить на своем, и дело слушалось в

городском суде. Я сидела в зале, и мне казалось, что я вижу кошмарный сон. Всю публику — человек полтораста — составляли сторонники Корчагина, который не признавал себя виновным и то и дело под громкие аплодисменты присутствующих выкрикивал антисемитские лозунги. Я была на заседаниях суда всего трижды, но Маша мне рассказала, что слушание длилось больше месяца, и реакция публики была всегда одинаковой. Ну а кульминацией разбирательства стало выступление прокурора — как раз в тот день я была там. Прокурор Александр Сумин, в течении всего процесса не проронивший ни слова, под конец произнес речь, в которой не только заявил, что не видит в действиях Корчагина ничего предосудительного, но еще и добавил (цитирую по своей записи): «Островскому и Гохбергу будет на руку любой приговор, лишь бы он состоялся. В случае оправдания Корчагина они смогут утверж дать, что евреев в России преследуют и суды эту политику одобряют. Если же Корчагину вынесут обвинительный приговор, судам придется рассматривать еще несметное количество подобных дел. Это создаст Островскому и Гохбергу ореол борцов за права еврейского народа, что, в свою очередь, обеспечит им поддержку соответствующих зарубежных организаций и их финансовую помощь». Полагаю, что комментарии здесь излишни. Сам ход процесса полностью характеризует обстановку как в Москве, так и во всей стране. Хочу только добавить, что судья Лариса Гусева, в отличие от прокурора явно шокированная всем происходившим, приговорила-таки Корчагина к денежному штрафу с запретом заниматься в течение трех лет издательской, редакторской и журналистской деятельностью. Но через пару недель после вынесения приговора была объявлена амнистия по случаю пятидесятилетия Победы, так что с Корчагина это наказание стекло как с гуся вода.

Впрочем, евреи теперь чувствуют себя в России комфортнее, чем в былые времена, — у нас появились товарищи по несчастью, оттеснившие нас в качестве объектов ксенофобии на задний план. После отсоединения среднеазиатских и кавказских республик, в особенности же после начала войны в Чечне, «гнев народа» обратился против всех смуглых и черноволосых, или, как теперь принято говорить, против «лиц кавказской национальности». Этот термин появляется в последнее время даже в прессе и на телевидении, хотя, разумеется, никакой «кавказской национальности» отродясь не существовало. Кавказ населяют десятки народностей, которые разнятся между собой языком, религией, традициями, культурой. А поскольку старая ивритская поговорка гласит: «Царат рабим хаци нехама», что значит «горе

многих — наполовину утешение», то я как еврейка теперь чувствую себя в Москве значительно увереннее, чем прежде. Ну и поскольку я по натуре оптимистка, то хочу верить, что Россия выйдет наконец из «переходного возраста» демократии, и мне удастся дожить свой век в действительно цивилизованной и демократической стране. Дай-то Бог!

* * *

Примерно полгода назад я закончила свои воспоминания, поставила, так сказать, последнюю точку и не собиралась больше к ним возвращаться. Но в последнее время мне не дает покоя настойчивое желание добавить как бы постскриптум и рассказать о своей недавней поездке в Израиль. Уже второй в моей жизни.

Итак, в январе этого, 1996 года мы осуществили свой замысел и отправились втроем — я, Лена и Алеша — на Землю обетованную. Время года было самое неподходящее, мои тамошние друзья, которых я предупредила о нашем приезде, пугали меня, что это у них сезон дождей, льет с утра до ночи, и мы не получим от поездки никакого удовольствия, что в Израиль надо приезжать весной или осенью. Но у нас не было выбора: Лена с Алешей были свободны только во время каникул в колледже, поэтому мы решили рискнуть и перед самым Новым годом прилетели в Тель-Авив — я из России, они из США. И Господа Бога, видимо, растрогала наша решимость, Он пожалел нас, и почти все время нашего пребывания там, то есть около четырех недель, стояла дивная погода — тепло, солнце, голубое небо без единой тучки. Только дня за три до нашего отъезда на небесах вняли мольбам раввинов, которые, как сообщали газеты, умоляли Всевышнего ниспослать дождь, столь необходимый сельскому хозяйству. И пошли непрерывные ливни. Но это уже не могло нам испортить впечатления от пребывания в чудесной стране. На взятом напрокат автомобиле мы изъездили ее вдоль и поперек (остановились мы в Тель-Авиве у друзей, которых теперь у меня в Израиле больше, чем в Москве — одни эмигрировали туда из России раньше, другие позже), осматривая как древние, так и современные города, поселения и кибуцы.

Целую неделю мы прожили в Иерусалиме, без устали бродя по Старому городу, где все дышит историей и напоминает бесконечные пассажи из Старого и Нового заветов, а также по более современным, но тоже достаточно древним и интересным районам города. А из незнакомых нам по Библии местностей наибольшее впечатление произвел на нас один из древнейших городов Ближнего Востока — Бейт-Шеан (в разные исторические эпохи он назывался также Скитополис и Ниса). В ходе раскопок, начатых еще в 1920-е, там обнаружили более десятка слоев человеческих поселений, самые древние из которых относятся к пятому тысячелетию до нашей эры. Теперь туристам показывают там стены домов египетского периода (xvi — xii века до н. э.),

израильского (царь Давид — xi — x века до н. э. — завоевал этот город, а во времена его наследника, царя Соломона, город был крупным административным центром), римский амфитеатр (II век), где происходили бои гладиаторов, улицу с великолепной колоннадой, интерьеры домов, украшенные древней мозаикой, и т. п. Раскопки продолжаются, принося все новые находки, и все это вместе производит ошеломляющее впечатление.

Не меньшее, но совсем другого рода впечатление производят тянущиеся вдоль автострад (которые, по заверениям моего опытного внука Алеши, не хуже американских) плантации апельсинов, лимонов, мандаринов, грейпфрутов, бананов. На землях, где всего несколько десятилетий назад была безводная пустыня, стоят бесконечные ряды увешанных плодами деревьев. Меня переполняло восхищение людьми, создавшими все это, их энергией и самоотверженностью. Ну а поскольку я прибыла из России, то дополнительное мое изумление вызывал факт, что эти спелые фрукты никто не ворует. У нас это было бы совершенно невозможно. Ведь кибуцы и мошавы (поселения частных землевладельцев) расположены на некотором расстоянии от дорог, и воров, особенно вечером и ночью, никто бы даже не заметил.

Сравнения с советской действительностью у меня возникали также при посещении кибуцев, то есть сельскохозяйственных коммун. Я побывала в двух таких хозяйствах. В одном, под Тель-Авивом, живет моя соученица по гимназии Наоми Шахар, эмигрировавшая из Польши еще до войны. В другом, на севере страны, — моя землячка из Белостока Хайка Гроссман, о которой я уже писала, бывшая партизанка, потом, в Израиле, крупная общественная деятельница, теперь тяжело больная, несколько месяцев не покидающая больницу. Оба кибуца — богатые хозяйства, где люди живут в красивых индивидуальных домах со всеми удобствами и ни в чем не испытывают нужды. Хайку я навестила в кибуцной больнице, в которой условия и уход, как оказалось, не хуже, чем в московских клиниках высшего разряда. Наблюдая все это, я непрерывно задавалась вопросом, почему уровень почти всех советских колхозов ниже всякой критики, люди живут на грани нищеты и все, кто помоложе, стараются оттуда удрать (теперь это стало возможным, раньше у колхозников, как в старину у крепостных, не было паспортов, и сняться с места они не могли), в то время как кибуцы процветают и даже не в состоянии принимать всех желающих туда вступить. Фиаско самой идеи колхозов обычно объясняют тем, что при отсутствии частной собственности у людей нет стимула работать, они не заинтересованы в результатах своего труда. Наверное, это

так, но ведь кибуцы коллективизированы еще больше, чем колхозы, там даже пищу, как правило, не готовят дома, питаются в общей столовой, где на кухне дежурят по очереди все члены кибуца, независимо от своего основного занятия. Почему такое происходит? В чем причина? Скорее всего, в том, что в колхозы людей загоняли насильно, у них не было выбора, не было альтернативы. В кибуц же люди вступают по своей воле, без всякого принуждения. Если они хотят заниматься сельским хозяйством, но им не нравится коллективный труд, то у них есть возможность осуществить свое желание, обзаведясь собственностью в мошаве. Думаю, что в этом все дело. Другое объяснение мне просто не приходит в голову.

Последней точкой нашего путешествия был самый южный город Израиля, курорт Эйлат на берегу Красного моря. Мы провели там несколько дней, отдыхая после путешествия по стране, загорая на пляже и купаясь в море. В середине января там было двадцать пять градусов тепла при температуре морской воды тоже выше двадцати. Словом, нормальное европейское лето. И хотя, по тамошним понятиям, была зима и мертвый сезон, мы видели на пляже и на улицах множество туристов из самых разных стран.

И тут я не могу не рассказать об одной приятной встрече. В свой последний вечер в Эйлате мы вышли после ужина погулять. Идем по улице, и вдруг рядом с нами останавливается джип с крупной надписью «ООН». Из окна высовывается офицер и спрашивает по-английски (на этом языке в Израиле можно объясниться с каждым) у Алеши, который оказался ближе всего к краю тротуара, как проехать к такой-то гостинице. Алеша начинает ему объяснять и слышит, как тот обращается по-польски к сидящему рядом коллеге: «Я что-то не очень понимаю, послушай ты, ведь ты знаешь английский лучше моего». На это Алеша: «Я могу вам все повторить по-польски». — «Значит, вы из Польши?» — «Нет, из Америки». — «А откуда вы знаете польский?» — «Бабушка и мама меня научили, вот они стоят рядом со мной». Тут с радостными восклицаниями из джипа выскочили четверо молодых мужчин в польской офицерской форме, представились (один был из Ополя, другой из Вроцлава, третий из Кракова, четвертый, если не ошибаюсь, из Грудзендза) и начали нас расспрашивать, откуда мы и что делаем в Эйлате. Сами они, как оказалось, служили в польской части ООН на Голанских высотах, двое на сирийской стороне и двое на израильской. Получили увольнение на несколько дней и решили отдохнуть в Эйлате. Проехали всю страну, так как Голанские высоты находятся на севере Израиля. Услышав, что дочь и внук

прилетели из США на свидание с бабушкой, они, не вдаваясь в подробности, решили, что я гражданка Израиля и живу тут постоянно. После чего, обращаясь ко мне, начали твердить, перекрикивая друг друга: «Послушайте, не отдавайте Голанские высоты! Вообще ничего этим арабам не отдавайте! Мы уже на них нагляделись, видели Сирию, Ливан… Разве их можно сравнить с Израилем? Не уходите вообще ниоткуда!» Они то и дело возвращались к этой теме во время нашего более чем получасового разговора, и чувствовалось, что не раз уже обсуждали этот вопрос между собой и теперь рады возможности высказать свою точку зрения лицам как-никак заинтересованным. Мы простились очень довольные встречей, и я им сказала, что, хотя не совсем разделяю их мнение, все равно тронута их произраильской позицией и рада услышанному.

А вообще тема, затронутая нашими случайными собеседниками, — главный предмет обсуждений и споров во всех, пожалуй, кругах израильской общественности. Вся страна вовлечена в политику, и этому трудно удивляться. Люди живут как на вулкане и не знают, что с ними будет завтра. Сама я до недавних пор была решительной сторонницей переговоров с арабами и территориальных уступок в обмен за мир. Но пребывание в Израиле несколько поколебало мою уверенность. Будучи в Иерусалиме, мы навестили несколько семейств наших близких еще по Москве друзей, которые живут в поселениях, расположенных всего в 10–15 мин езды от города, на так называемых территориях, то есть землях, завоеванных Израилем в ходе шестидневной войны 1967 года. На эти земли предъявляет теперь претензии Арафат, как, впрочем, и на восточный Иерусалим, называя его столицей будущего арабского государства. Последнее — полнейший абсурд, прежде всего потому, что Иерусалим был в древности столицей иудейского государства, арабского же государства на территории Палестины вообще никогда не существовало. Ну и кроме того, можно ли себе представить город, разделенный пополам и являющийся одновременно столицей двух враждебных государств?!

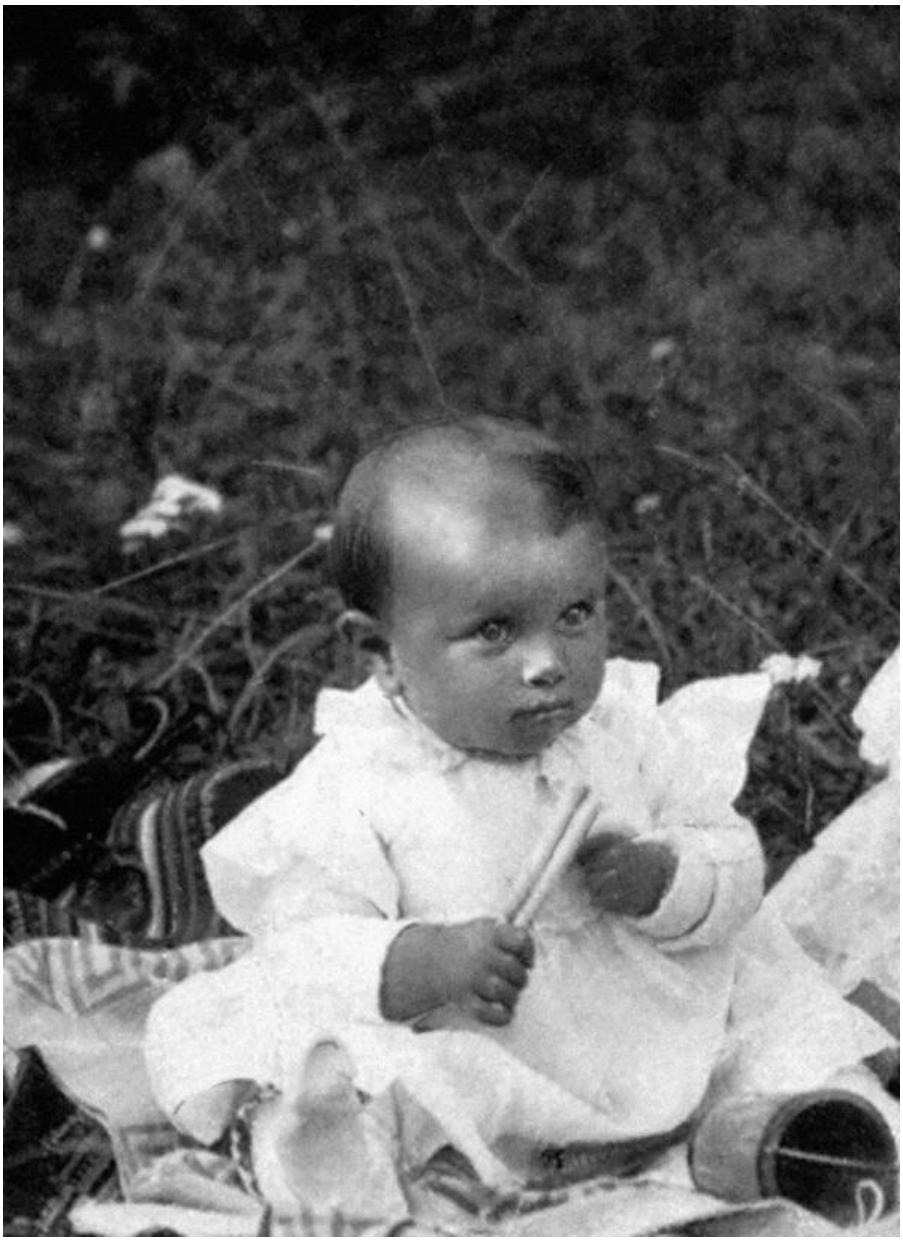
Что же касается поселений, жители которых в подавляющем большинстве работают в Иерусалиме и вынуждены ездить туда каждый день, то они огорожены колючей проволокой, при въезде — военный пост, всех проверяют вооруженные солдаты. И все тамошние мужчины в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет тоже по очереди дежурят на этих постах: им выдают оружие, они помогают солдатам. Все это вместе, хотя поселения сами по себе красивы и ухоженны (их построили израильтяне в течение последних тридцати с небольшим лет), производит удручающее

впечатление. Ну а колючая проволока поневоле вызывает в памяти концентрационные лагеря, о которых евреи после всего, что постигло наш народ в нынешнем столетии, хотели бы наконец забыть. Не поднимает настроения и тот факт, что рейсовые автобусы между поселениями и Иерусалимом в целях обеспечения безопасности пассажиров едут в сопровождении вооруженной военной охраны. Трудно удивляться, что мои друзья (один из них, например, еще до начала переговоров с Арафатом построил в таком поселении прекрасный дом, кстати, с обязательным для каждой израильской новостройки бомбоубежищем) со страхом и возмущением говорили о вполне реальной перспективе передачи этих земель под арабскую юрисдикцию. Мирные переговоры они всячески приветствуют, но при этом считают, что в территориальных уступках не надо впадать в крайности.

А когда я вернулась в Москву и спустя несколько недель услышала о чудовищных, бесчеловечных террористических актах в Иерусалиме, Ашкелоне и Тель-Авиве, где за девять дней погибло около шестидесяти человек, а несколько сотен получили ранения, я вообще стала сомневаться в возможности заключения с арабами прочного, цивилизованного мира. И со страхом, смешанным с горечью, думаю: почему мой народ, который столько страдал и наконец спустя два тысячелетия вновь обрел родину и имеет свою страну, как все другие народы мира, опять не может быть уверен в завтрашнем дне и снова вынужден жить под дамокловым мечом? И от всей души желаю своим израильским собратьям мужества, стойкости и душевных сил.

Март, 1996 год

Фото с вкладки



«Итак, родилась я в 1923 году в польском городе Белостоке в интеллигентной еврейской семье». Маленькая Эстер. 1923 г.

«В Польше с каждым годом ширился и усиливался антисемитизм, но мы в Белостоке знали об этом только из газет и по рассказам приезжих. У нас евреи составляли как бы

государство в государстве — у еврейской общины был свой выборный совет, свой бюджет».

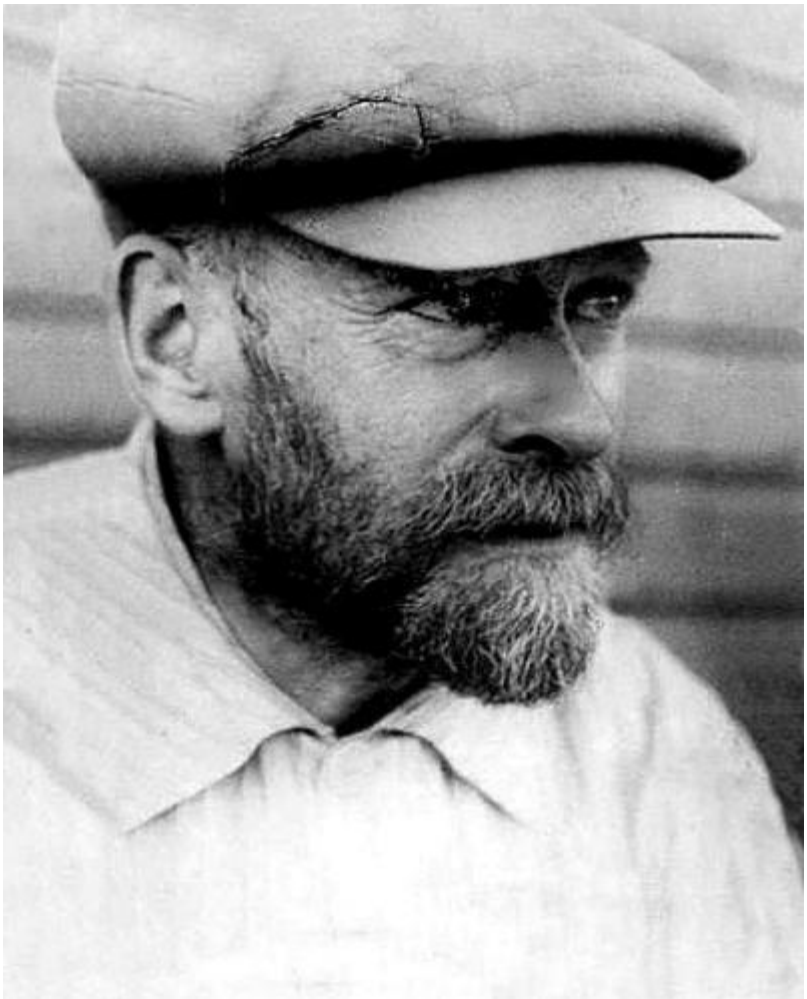
Довоенный Белосток. Католический костел Успения девы Марии

Православный собор.

У фонтана на рыночной площади

Бедная улочка в еврейском квартале.

«Тут я хочу отметить, что в стотысячном городе, каким был Белосток, евреи составляли около половины населения — здесь были еврейская больница, еврейский детский приют и дом престарелых, целая сеть частных школ-семилеток с преподаванием на идише или на иврите, частные же гимназии, в нескольких из которых преподавание велось на польском языке, в одной на идише и в одной на иврите; именно в последней училась я». Эстер — седьмая слева в верхнем ряду. 1932 г.



«Я очень надеялась, что познакомлюсь там с Янушем Корчаком, чей «Король Матиуш Первый» был тогда моей любимой книгой. Каково же было наше с тетей разочарование, когда вместо Корчака нас встретил никому в ту пору не известный Игорь Неверли, его секретарь и фактический редактор еженедельника. Кто мог предвидеть, что спустя годы Неверли станет известным писателем, а я — переводчицей польской литературы». Януш Корчак. Конец 1920-х гг.

Игорь Неверли. 1960-е гг.;

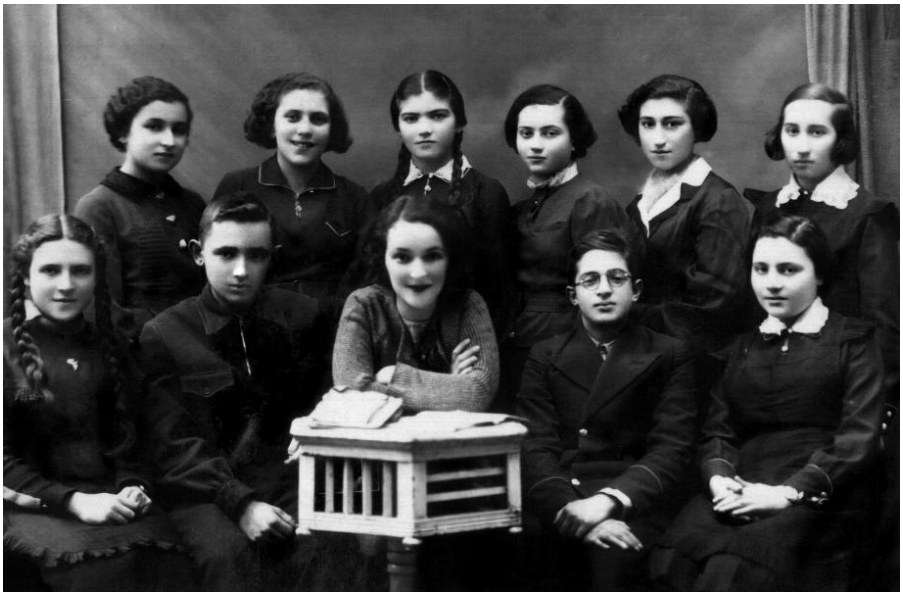
Игорь Неверли

СОПКА ГОЛУБОГО СНА

Книги И. Неверли в переводах Э. Гессен.

«Итак, я училась в еврейской гимназии, где все преподавание шло на иврите. Туда записал меня отец, несмотря на возражения мамы, предпочитавшей для меня ее гимназию с преподаванием на идише». Урок физкультуры у девочек.

Эстер — четвертая слева во втором ряду. 1933–1934 гг.



«Мы в своей лишенной лицензии гимназии сдавали в один день все предметы программы. Не помню точно, сколько их было, но, во всяком случае, не меньше десяти. Это была настоящая пытка, меня до сих пор бросает в дрожь при воспоминании о тех проклятых экзаменах». Эстер — вторая слева в верхнем ряду. Второй слева в нижнем ряду — Боря Каплан. 1937 г.

Эстер (вторая справа) с одноклассницами в Белостоке. 21 мая 1937 г.

«Нора Ней, дочь Неймана, разорившего моего отца, долгие годы испытывала, должно быть, чувство вины». Конец 1930-х гг.

«Хайка Гроссман — бывшая белостокская подпольщица и партизанка, а в Израиле — видная общественная деятельница, член Кнессета». Конец 1930-х гг.

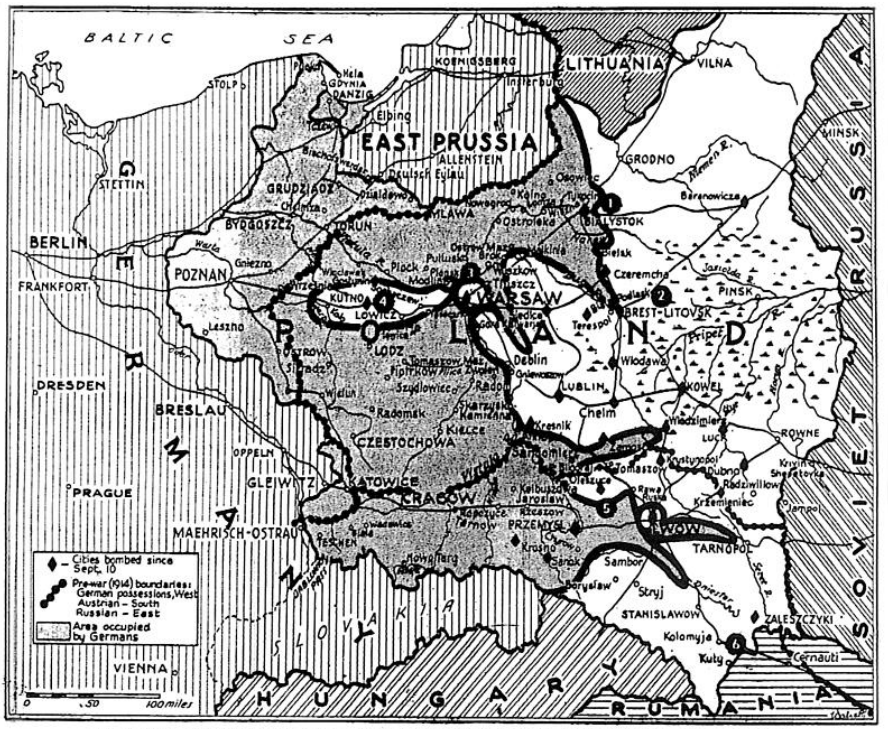
Эстер (справа) во дворе гимназии с Эстер Гинзбург. 1937 г.

Брок-над-Бугом. Эстер — справа, вторая слева — Хайка Аронсон. 1937 г.

Эстер (четвертая справа) прогуливает школу и встречается с ребятами из «Ха-шомер ха-цаир». Справа от нее — Яков Маковский, которому удалось выпрыгнуть из поезда, идущего в Треблинку. 1938 г.

«Между тем время шло, и вот наступил роковой 1939 год. Я перешла тогда во второй класс лицея и, начнись война годом позже, успела бы, как было задумано, уехать учиться в Иерусалимский университет, и тогда вся жизнь моя и моих

родителей сложилась бы совершенно иначе». Эстер Гессен с родителями и друзьями. Белосток, конец 1930-х гг.



GERMAN ARMIES CONTINUE WIDE FLANKING ADVANCES IN POLAND

While isolated Polish armies continued to battle with fury against the German invaders, Nazi forces in the north and in the south continued their swift advances, meeting little opposition except in strongly fortified areas.

The German army in the north captured Bialystok (1), a city of 80,000 and the juncture of the Warsaw-Leningrad railroad. At the citadel of Brest-Litovsk (2), 120 miles east of Warsaw, the Poles thrust back continued German attacks. This stronghold is the gateway to the vast Pripet marshes to the east.

At Warsaw (3) the defenders received a twelve-hour ultimatum from the Germans to evacuate the city. Kutno (4), where five Polish divisions were holding off the Germans, was reported to have fallen. The Germans bettered their positions somewhat to the north and to the south.

With the capture of Przemysl (5) the Germans took a strategic fortress. Lwow, however, still stood off repeated Nazi onslaughts. The Germans, however, have extended their spearhead advances to Bilgoraj and Wlodzimierz. The Poles moved their Foreign Office to Kuty (6) on the Rumanian border.

The battle line is based largely on a special message to THE NEW YORK TIMES.

«Никто тогда не знал о пакте, заключенном между Молотовым и Риббентропом, но было ясно, что обе армии — немецкая и советская — действуют вполне согласованно. Разногласия, как оказалось, возникли только в вопросе о Белостоке». Карта советско-германского раздела Польши из британской периодики 1939 г.

«В конце концов обе стороны, немецкая и советская,

договорились относительно Белостока, немцы ушли, уступив место Красной армии. Советские солдаты появились в городе еще до ухода оттуда частей вермахта, и толпы горожан, вышедших на улицы, с изумлением наблюдали, как приветливо те относятся друг к другу, как спокойно и беспрепятственно, на глазах у бойцов и командиров Красной армии, немцы вывозят из города все что их душе угодно». Сентябрь 1939 г.

«Новые хозяева начали постепенно, но решительно устанавливать свои порядки». Костел Св. Роха в Белостоке. На соборе еще крест, но рядом уже красные знамена, звезды и надпись на идише. 1939 г.

«Так или иначе, но в одну из ночей всех записавшихся на возвращение в родные места повытаскивали из постелей и повезли. Но только не на запад, а на восток. На поселение». Депортация. 1939–1941 гг.

«В последних числах июля, провожаемая взволнованными родителями и возбужденными подругами и друзьями, я села в поезд. До Москвы, с пересадкой в Минске, добралась без приключений». Вокзал в Белостоке. Начало 1940-х гг.

«Даже не пытаясь сдерживать слезы, я ходила по улицам, которых не видела двадцать два года, и практически все узнавала

и вспоминала, пока мы не добрались до территории бывшего гетто. Там, как мне объяснили прохожие, при немцах все было разрушено, а после войны отстроено заново».

Евреи гетто под присмотром немецких охранников демонтируют памятник Ленину перед дворцом Браницких. 1941 г.

Эксгумация на месте массового захоронения жертв гетто. После 1944 г.

Центр послевоенного Белостока. 1961 г.

Еврейское кладбище на окраине города. 1970-е гг.

«Я никогда не была в таком огромном городе, никогда не видела метро, на котором надо было ехать с Белорусского вокзала в Сокольники, где находился ИФЛИ, и не знаю, как бы я с этим справилась, если бы не дружелюбие прохожих». Здание ИФЛИ. Конец 1930-х гг.

«В ИФЛИ собралась молодежная интеллектуальная элита того времени. В частности, там учились многие известные впоследствии поэты: Павел Коган, Сергей Наровчатов, Давид Самойлов, Семен Гудзенко, Юрий Левитанский и другие. Двое последних жили, как и я, в общежитии, и мы дружили». На фото в центре Семен Гудзенко и Юрий Левитанский. Венгрия, март 1945 г.

«Помню, как однажды, когда я стояла в такой очереди, к нам подошел профессор Радциг, читавший курс античной литературы, и стал нас уговаривать: «Товарищи студенты, ваша очередь подойдет еще не скоро, не бойтесь пропустить. Предупредите тех,

кто стоит за вами, и пойдемте со мной послушать лекцию. Очень вас прошу»». Профессор С. И. Радциг. 1950-е гг.

«Наконец я добралась до Бийска. Этот город со стотысячным населением на реке Бие был конечной станцией, здесь железнодорожные пути обрывались. И приходил туда всего один поезд в сутки». Бийский горсовет. 1930-е гг.

«…и тут оказалось, что ИФЛИ больше не существует. Его присоединили к Московскому университету, где до той поры не было ни философского, ни филологического факультетов. Ну и мы автоматически превратились в студентов МГУ». Эстер Гессен — выпускница Московского университета.

«Саша с грустью смотрел на него своими огромными карими глазами, и моя мама, приехавшая уже к тому времени из Сибири, сказала: Смотрите, доктор, в этих глазах видна вся мировая скорбь еврейского народа». С сыном Сашей. 1945 г.

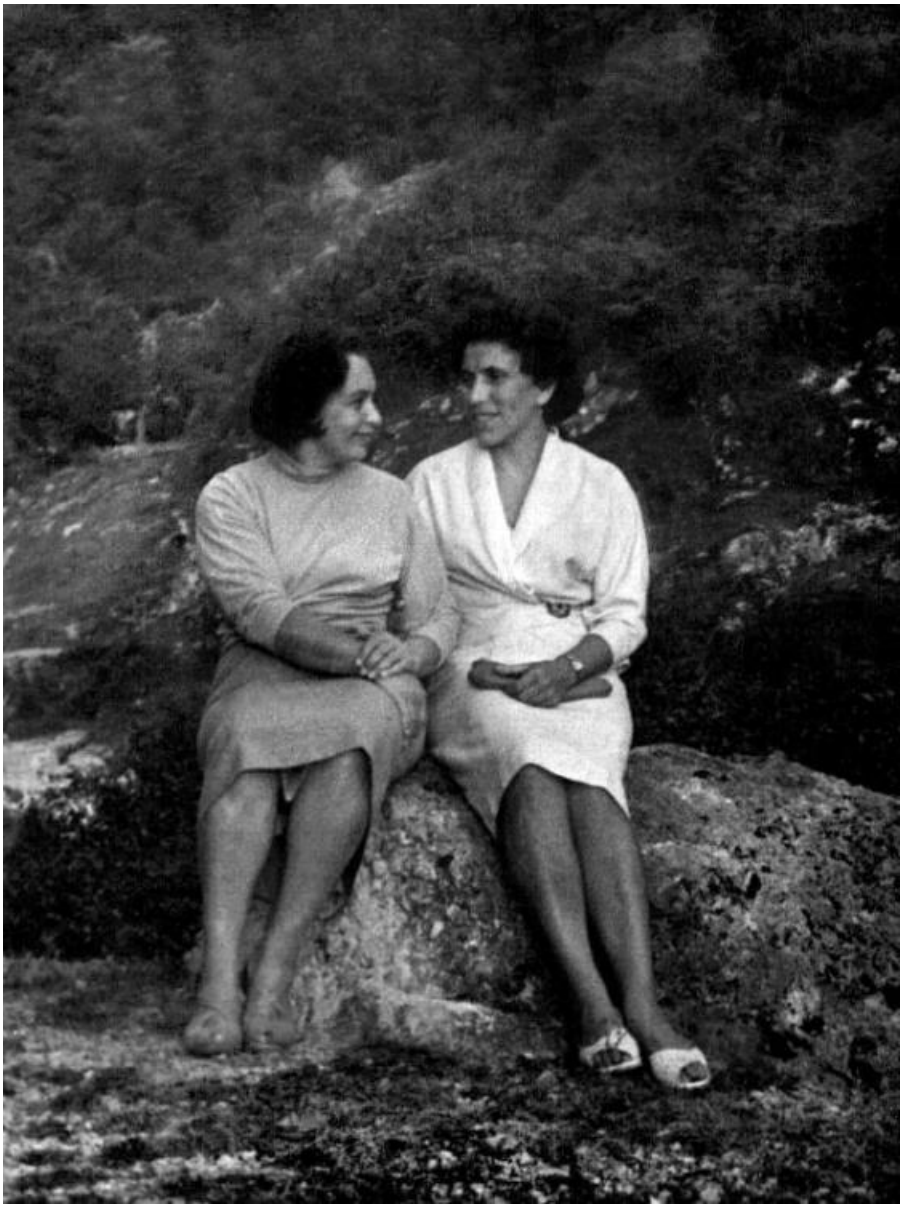
«Я шла по указанному адресу, меня приветливо встречали, расспрашивали о моих квалификациях, обещали работу. После чего я заполняла анкету и вместе с заявлением и резолюцией начальника соответствующего отдела сдавала ее в отдел кадров. Ну а через несколько дней, когда я приходила за ответом, мне говорили, что произошло недоразумение, обещанное мне место не освободилось, никаких вакансий нету. Я была в отчаянии, тем более что в это же время и, разумеется, по этим же причинам

уволили с работы мою маму».

Эстер. 1953 г.

Эстер с мамой и Сашей на ВДНХ. 1953 г.

«Вернувшись из лагеря в возрасте семидесяти восьми лет, мой свекор решил, что, поскольку времена изменились, да и он уже свое отсидел, ему можно вернуться к любимому делу и снова начать писать. Он всю жизнь увлекался Пушкиным, прекрасно знал его творчество и теперь, получая пенсию и имея много свободного времени, начал ходить по библиотекам и архивам, ездил в поисках архивных материалов в Ленинград и спустя пару лет, разменяв уже девятый десяток, опубликовал свою первую книгу о Пушкине «Набережная Мойки, 12». А. И. Гессен. Фото 1970-х гг.



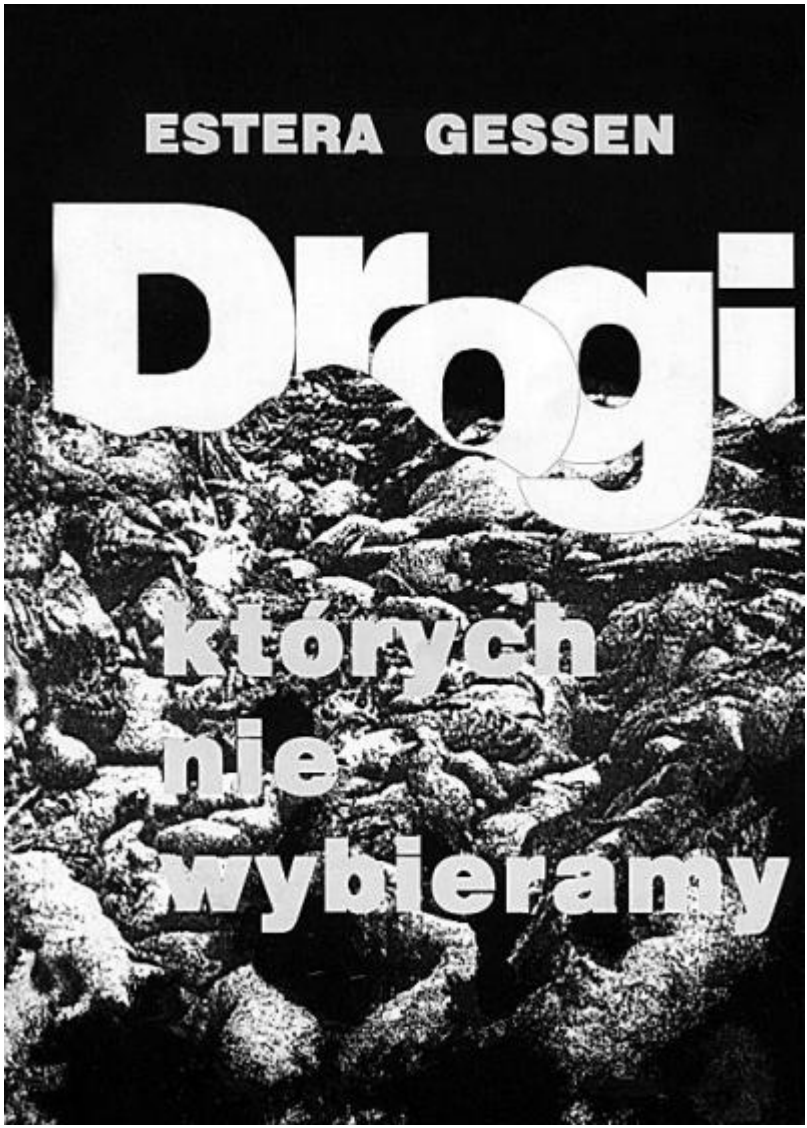
Две бабушки Маши Гессен: Эстер Гессен (справа) с Розалией (Рузей) Солодовник. 1961 г.

«Сергей, в отличие от Бориса Гессена, был русским. Более того, он происходил из семьи православных священников, его отец был протоиереем. А иметь такого отца было в первые десятилетия после революции не лучше, чем потом — быть евреем». Эстер со вторым мужем Сергеем, дочкой Леной и сыном Леней. 1968 г.

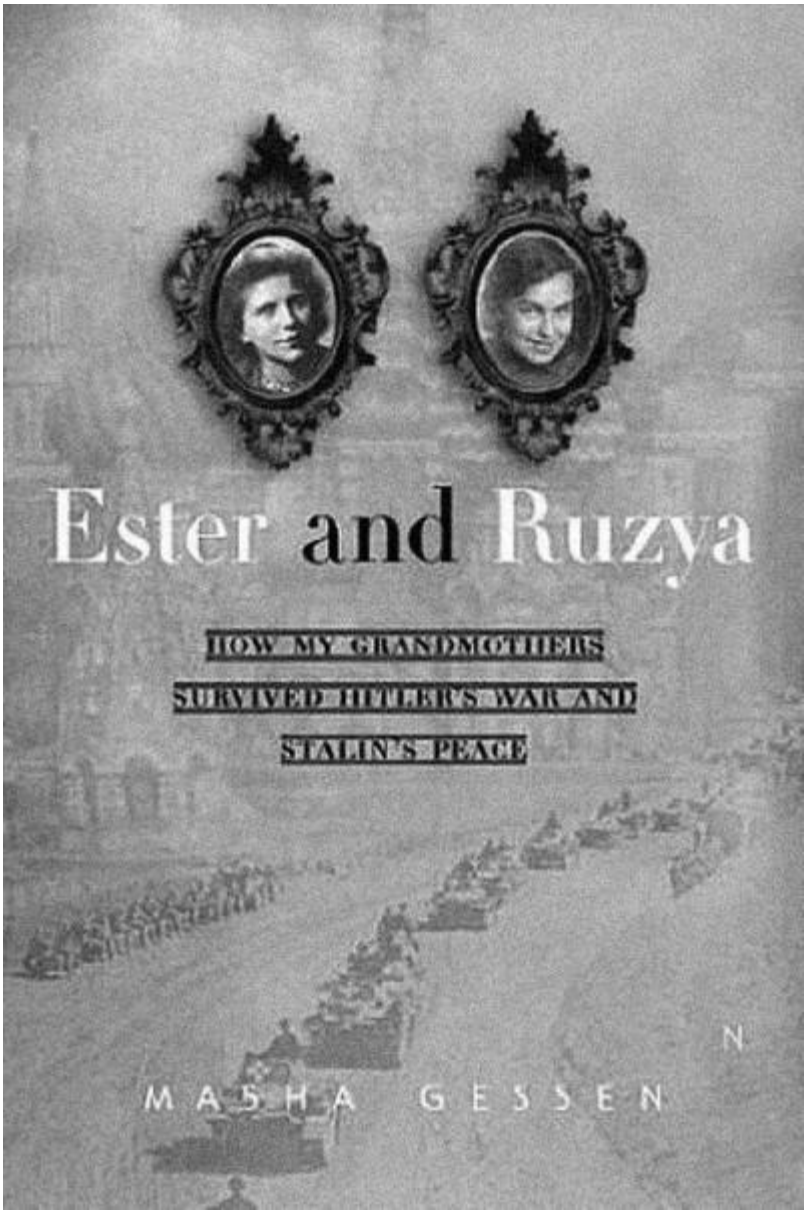
«Саша ждал разрешения более полутора лет, что тогда было отнюдь не редкостью. Они уехали только в феврале 1981 года. Мы прощались в полной уверенности, что это навсегда, что больше уже никогда в жизни не увидимся».

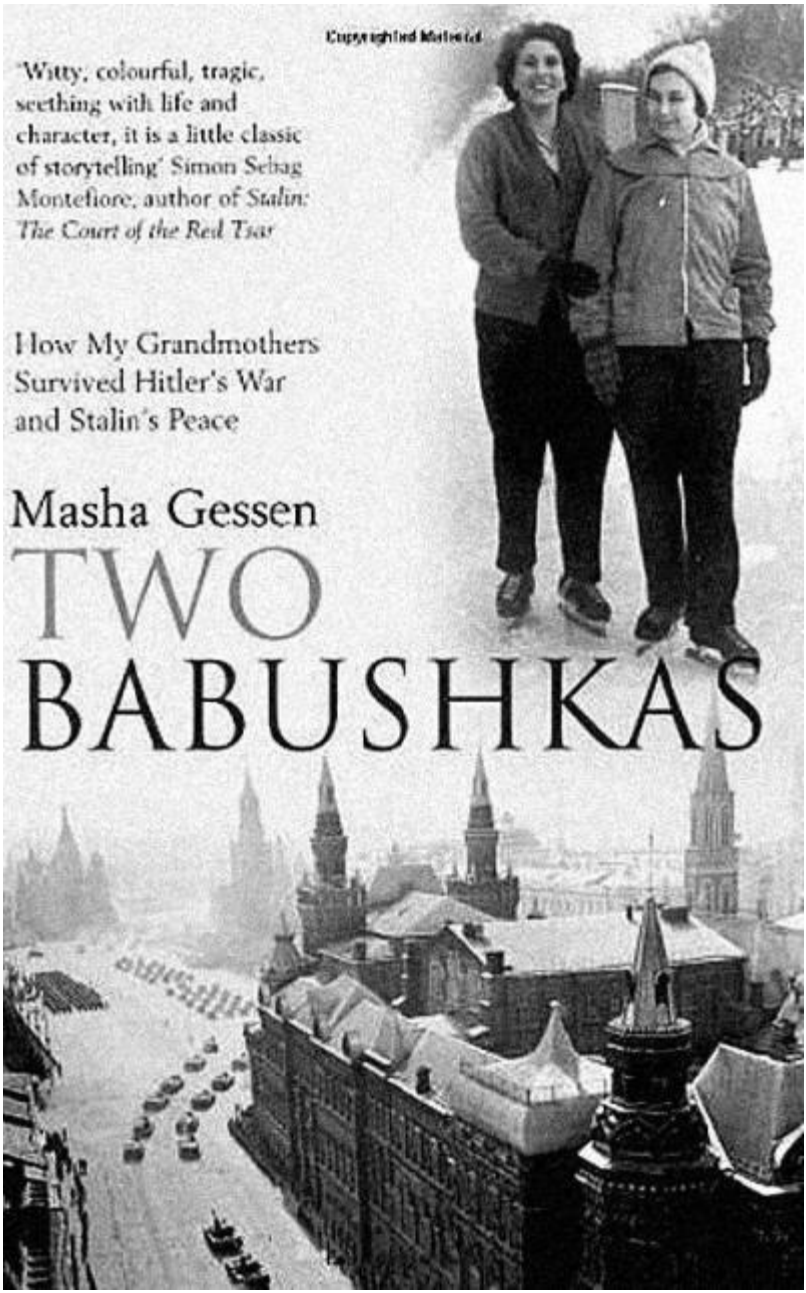
Вся семья еще вместе. Стоят: внучка Маша, дочка Лена. Сидят: сын Леня, внук Алеша, Эстер, внук Костя, сын Саша. Москва, 1981 г.

«Мне уже за семьдесят, сижу без работы. Редакция, где я трудилась сорок с лишним лет, умерла естественной смертью, а поскольку я привыкла за все эти годы проводить достаточно много времени за пишущей машинкой, то мне подумалось, что, может быть, стоит записать, хотя бы для детей и внуков, кое-что из моих воспоминаний». Эстер Гессен. 1997 г.



Обложка первого издания книги воспоминаний Эстер Гессен на польском. Варшава, 1998 г.


Ester and Ruzya
HOW MY GRANDMOTHERS SURVIVED HITLER'S WAR AND STALIN'S PEACE
MASHA GESSEN



«Окончив учебу, Маша стала довольно популярной журналисткой и, если не ошибаюсь, в 1991 году приехала по каким-то своим профессиональным делам в Москву. С той поры она старалась посещать бывшую родину как можно чаще и в финале решила, что жизнь в США несравненно скучнее, чем в России, где то и дело происходят захватывающие события, и восстановила свое российское гражданство». Обложки книг Маши Гессен, посвященных двум бабушкам. 2000-е гг.

«Уже больше шестидесяти лет я провожу каждое лето в Подмосковье, в пяти километрах от аэропорта Шереметьево. Дача без самолетов кажется мне и не дачей». Август 2013 г.

notes

Примечания

1

На самом деле Нора Ней в 1946 году эмигрировала в США и умерла в Энсинитесе, Калифорния, в 2003 году в возрасте 93 лет. (Здесь и далее — прим. ред.)

2

Линия Керзона была рекомендована лордом Керзоном 8 декабря 1919 года. Польша приняла эту рекомендацию 10 июля 1920 года.

3

Настоящее имя Якуба Коласа — Константин Мицкевич.

4

Апфельбаум — фамилия матери Григория Зиновьева, настоящая его фамилия — Радомысльский.

5

ДОПР — дом общественно-принудительных работ.